

И ПРОСТО — ЖИТЬ...

Все началось с того, что по случаю получения звания «Заслуженного художника РФ» пригласил нас с Владимиром Заногой к себе в мастерскую скульптор Виктор Пурихов. Накрыл посередине просторного помещения хороший стол, выставил водку и мы за рюмочкой и закусочкой размякля душой, разговорились о прожитом, о прошлом, размышлялись о будущем. Вот тут-то и возникла эта заманчивая и, казалось, что легко осуществимая идея — по весне обязательно всем вместе съездим к каждому в его «деревенское убежище». Потому что за столом всякий «кулик» свое «болото» расхваливал без удержу, с неподдельным, искренним восторгом. И ведь никого не упрекнешь за хвастовство. Действительно, места вокруг Нижнего Новгорода чудесные, красоты сказочной. Вот художник Владимир Иванович Заного обосновался на вершине высокого холма в Васьиньске. Стоит городок на правом высоком берегу Волги. Рядом впадает в Волгу река Сура. А вид с холма на заволжскую тайгу открывается необозримый, бесконечный. И какие замечательные пейзажи написал у своего дома Владимир Иванович, на какие сюжеты для своих картин вдохновился он, озирая окрест сказочные, былинные просторы.

Виктор Иванович Пурихов житель равнинной, почти степной части Нижегородчины. В отличие от нас, его дом в Бутурлинском районе, на реке Пьяне не вновь приобретенный, а родовой, исконный, доставшийся супруге по наследству от родителей. Да и сам Виктор Иванович из села по соседству. Потому и летнюю мастерскую он около него выстроил основательно, чтоб работать не в спешке, а укорененно, вдумчиво. И опять же, нет ничего случайного в том, что стал он замечательным скульптором. Потому что родился в селе Борнуково, работал на художественно-камнерезной фабрике «Борнуковская пещера». Затем учеба и работа в мастерской народного художника РСФСР скульптора Павла Ивановича Гусева. Иными словами — за плечами основательная творческая школа и плюс врожденный, Богом данный талант. Убеждать нас особо в этом таланте нет никакой надобности. Вот они, его произведения, окружили наше застолье плотным кольцом. Большие скульптуры стоят на полу. Маленькие, коих множество, — на стеллажах вдоль стен. Тут и портреты, и жанровые композиции, и макеты уже установленных памятников. А вот у своей реки любит Виктор Иванович побродить со спиннингом, потаскать щучек. Ну, а если найдет хороший камень, непременно его запомнит и затем в свою мастерскую свезет, чтобы превратить бесформенную глыбу в портрет односельчанина, вырубить ли

из нее стройный девичий стан, а то и фантазию какую сказочную явить миру, для всеобщего обозрения и восхищения.

Мой дом среди сидящих за столом оказалась хоть и самым близким по расстоянию от города, но и самым северным, заволжским, лесным. Конечно, местность у нас посуровее, чем у правобережных. Даже первое весеннее тепло с запозданием приходит. Зато — с чем можно сравнить долгое хождение по лесам, вдоль тихих и нешироких речушек, у болот? А затем, утомившись, выйти на вольную поляну — чей-то старинный, обихожанный покос — усесться под могучей сосной, скинуть с натруженных ног сапоги и задремать под легкое шевеление леса и ласковое тепло солнца. Солнце посверкивает беспокойными бликами. Ветер вживую колышет ветки. Сквозь прикрытые веки ты это ощущаешь по-особенному, потусторонне. Оттого и засыпаешь неторопко, постепенно — будто нескоро уходишь в открывшуюся незнакомую даль. И вроде бы видишь уже только ее, а слышать продолжаешь знакомое похрустывание сосновых веток над головой, и таинственные солнечные блики ходят уже где-то внутри глаз, внутри тебя, твоего сознания. Когда же вновь очнешься, то непременно осознаешь, что солнышко уже близко к закату. За деревьями его и не видать. Но отдохнувший, бодрый встаешь с постели из мха, будто вновь рожденный, с освеженными не силами, а чувствами, и идешь к дому радостный, даже счастливый неведь от чего.

Вот так нахваливали мы во время застольной беседы каждый свое пристанище. И как, скажите, тут было не зародиться той идее, что непременно у каждого следует побывать и все увидеть собственными глазами. На том и расстались. Дело было зимой. До весны и лета, ой, как еще далеко, казалось нам тогда.

Но что может быть быстротечнее сегодняшнего нашего времени.

Все мы перевалили за свой пятидесятилетний рубеж. У всех оно, время, уже меряется не минутами, часами или днями — неделями. Да и те пролетают так, что еле успеваешь осознать — еще один отрезок отпущенного тебе срока канул в лету. А что сделано? Что успел? Но та, зародившаяся в застолье мысль, для всех нас троих не оказалась бесследно потерянной. И весной, только вернувшись с охоты на уток, я о ней своим друзьям напомнил. Предложил — едем за Волгу. Но для Виктора Пурихова это время оказалось неудачным, был занят какой-то срочной работой. И тогда на прежнее место моей охоты мы отправились с Владимиром Заногой. Благо, само место в определенном смысле уникальное. Это небольшой островок суши посреди на многие расстования затопленного паводком леса. Мне уже приходилось не раз охотиться в этих местах. К сожалению, за последнее время они несколько изменились (благодаря стараниям работников МЧС) не в лучшую сторону. Но даже и в этих изменениях была своя доля положительного. Теперь вода была не только в выработанных торфяных карьерах, но вольно разлилась, покрыв собой и малые болотины, и озерки, и пойменные луговины. Словом — сплошная водная гладь, в которой отражается, к несчастью, и затопленный, но оттого и более прекрасный лес.

Вот в это удивительное место мы и отправились с Володей Заногой, оставив поездку в непосредственно мое лесное пристанище на потом. Я возвращался к кострищу, от которого уехал всего неделю назад, в хорошем настроении. Охота случилась удачной. Рыбалка тоже. Более того, я надеялся, что и в этот раз мы без улова не останемся. А, значит, друг мой разделит со мной мою радость. Увидит и то замечательное, что так вдохновляло и радовало меня самого. Подышит со мной одним воздухом, посидит у постреливающего угольками костра, попьет чаю из висящего над ним котелка.

В лес нас проводил мой старинный товарищ Вадим Семеряков. Он же предоставил в наше полное распоряжение свой маленький ботничек, чтобы мы могли свободно передвигаться по воде и не только при на-

добности вернуться на «большую землю», но и проверять поставленные вдоль леса специально для нашего прокорма сети. И пусть в этот раз уловы были, скажу честно, не ахти какие. Но все-таки они были, и уж совсем без рыбы мы не сидели.

С другой стороны — разве в рыбе счастье?

Первый вечер, осваиваясь с обстановкой, мы провели на берегу карьеров недалеко от деревни. Вадим, обустроив нас на острове, отбыл восвояси к себе домой на станцию Киселиха. А мы разожгли костерок, натаскали хворосту, разложили прихваченную из домов закуску и... засмотрелись — на весенний лес, на ровную безмятежную воду, даже на вид еще холодную, неприветливую, но оттого сказочно прозрачную, на начавшие пробиваться сквозь легкое голубое небесное марево звезды. Мог бы я сейчас напридумывать, о чем мы тогда с Владимиром говорили, но не буду этого делать. Потому что совсем это не важно. Конечно же, мы были несколько возбуждены, восторженны. Сказывалось то, что многое мы оцениваем и видим одинаково. Мы и раньше-то, когда засиживались за долгими разговорами у Заноги в мастерской, испытывали нечто наподобие этих чувств. Это шло еще от взаимной приязни, от дружеского отношения. Теперь же, под вольным вечеряющим небом, у костра, после немного выпитого, нам и вовсе было душевно хорошо. Это великое, невероятной цены чувство — единение душ.

Переночевав в доме у знакомого Вадима, на следующее утро отбыли на наш остров. Проверив по пути сети, мы вынули из них, бросив на дно ботничка несколько линьков, карасей и плотвичек. Прибыв на место, разожгли добрый костер, приготовили нехитрый завтрак, напились чаю, и Владимир в нетерпении отправился на этюды. Но куда, островок-то невелик — в любую сторону от костра не более тридцати шагов? Особенно, если художник такой, как Занога, привык писать пейзажи с просторными далями, с большим, глубоким небом. Гляжу, мой Владимир погрустнел. Покрутился-покрутился по островку, как собака, которая себя в лежанку на земле укладывает, вздохнул глубоко и уверенно направился к ботничку.

— Ты куда? — озабоченно спросил я.

— Пойду, поищу место, вид для работы, — не проронив в мой адрес и слова упрека (ведь это я его сюда затащил), смиренно промолвил Владимир, погрузил этюдник в ботничек, взял весло и смело оттолкнулся от берега.

Я остался один на острове, под березами в грустном ожидании. Мне так без моего товарища враз стало одиноко и тоскливо, что я невольно смотрел в его медленно уплывающую спину с надеждой — вдруг одумается и вернется. Мы бы опять заварили чайку, поговорили. Так нет же, ему бы все работать и работать.

Деревья быстро спрятали от меня художника. И мне ничего не осталось делать, как заняться нашим невеликим хозяйством — набрать воды в котелок, сполоснуть сковородку после жареной рыбы, поднести к костру дрова.

Еще только обустроивая свое охотничье место на острове, Вадим с сыновьями сколотил тут стол и две лавки. Вот одну из лавок я и подтащил поближе к костру, улегся на нее и стал смотреть на вдруг оказавшийся так высоко от меня беспокойные вершины берез.

Вокруг была холодная вода, совсем недавно освободившаяся ото льда. От нее зябко тянуло холодом. Но тепло костра меня согревало, защищало. К тому же я потеплее укутался в свою «аляску», застегнул капюшон, и мне сделалось уютно. Я опять углубился в созерцание вершин берез. Беспокойные они были где-то высоко-высоко надо мной в чистом голубом небе. Под порывами ветра, которые здесь, внизу, совершенно не ощущались, они раскачивались, перебирали веточками и оттого вселяли в мою душу чувство обеспокоенности, почти тревоги. Отчего бы это? Может, от того, что я и не подозревал, будто эти деревья так высоки.

Вот уже полдня я ходил между их стволов — тонких, обтянутых нежной белой кожей — и не догадывался, что они столь высоки. Ведь раньше я смотрел вверх, на их вершины, и все равно они не казались мне столь далекими. Но лег на лавку у костра, закрыл глаза, а когда открыл, то невольно ахнул. Как же непривычно высоки, удалены от меня, оказались вершины берез. Как неожиданно, вдруг это чувство будоражит во мне память, еще какие-то до конца непонятые мной движения души. Они и сладостны, и беспокойны одновременно.

Какое-то время этим нахлынувшим чувствам я невольно сопротивляюсь. Но незаметно, все больше и больше пускаю их в свое чувство, в свое сознание. Постепенно они овладевают мной и, оказывается, что это я просто хочу подумать о Владимире Заного, о его творчестве и... о своей жизни.

Личное наше знакомство состоялось по моей инициативе. Но еще до него я видел многие работы этого художника. Правда, не «живьем», а в репродукциях — на больших цветных плакатах — календарях. И уже тогда они меня беспокойно зацепили: «Небеса благословенные», «Дыхание вечности», «Спаси и сохрани», «Несение креста» — живописные работы удивительные, эмоционально и философски насыщенные, композиционно затягивающие в себя, поглощающие внимание зрителя.

Пройдет совсем немного времени, и к этим календарям добавится книга, в которую уже отдельным художественным альбомом будут помещены более двух десятков репродукций с его картин — жанровых, пейзажей, натюрмортов, портретов. Вот тогда, после выхода в свет книги «Связь времён» мы и познакомились.

Конечно, подтолкнул меня к этому шагу определенный «корыстный» интерес. Дело в том, что начинался третий год издания альманаха «Вертикаль», а он все еще никак не мог приобрести своего узаконенного внешнего облика. В конце концов, я решил увеличить размеры издания до общепринятых размеров большинства литературных журналов, увеличить объем публикаций и разработать эксклюзивную для «Вертикали» узнаваемую обложку. По сути, альманах переходил в разряд журнала, и для него начиналась новая, не только литературная, но и общественная жизнь. И если с самим макетом, переворошив кучу книг и журналов, я, в конце концов, определился, то обложку мог подготовить только высококлассный дизайнер или художник. Тогда я и решил обратиться к Заного, посчитав, что его картины могли бы быть украшением обновленного издания.

Вскоре представился подходящий случай. На одном из вечеров в музее А.С. Пушкина выступал со своей лекцией интереснейший наш философ, автор нескольких книг, доктор философских наук, профессор Владимир Александрович Кутырев. После лекции я подошел к профессору, познакомился и предложил сотрудничать с нашим журналом (в дальнейшем в «Вертикали» были опубликованы несколько работ философа). Одновременно со мной подошел к Кутыреву и Владимир Заного. Так мы познакомились, и я сразу высказал художнику свою просьбу относительно разработки новой обложки для журнала. Конечно же, ничего определенного он ответить мне тогда не мог, но это послужило поводом для дальнейших наших встреч. А надо сказать — встречи эти были замечательными. Я приходил к Владимиру в мастерскую на улице Новую (бывшую в XIX веке окраинную улицу Нижнего Новгорода), поднимался на второй этаж (вернее даже, это была мансарда) старинного деревянного домика и окунался душой и телом в теплоту духовно и творчески напоенного пространства. Вдоль стен в тесноте стояли рядами одетые в рамы картины, заботливо прикрытые хозяином холстами. Из угла под потолком, с темных иконных досок взирали на меня строгие лики святых, а сквозь застекленную часть крыши (низкий потолок для освобождения пространства был художником убран) заполнял мастерскую слабый свет серого зимнего дня.

К этому времени Владимир заканчивал работать за мольбертом. Он разогревал чай, ставил на старинный, изящной работы деревянный столик вазочку с яблочным вареньем, и мы начинали наши неспешные, долгие, обычно заканчивающиеся только ближе к полночи, разговоры. Вот тогда в тиши мастерской я и познакомился со многими полотнами художника, что называется, воочию. И душевное состояние от этих состоявшихся знакомств всегда было спокойно-возвышенным. Словно творчески-молитвенное бдение художника через созерцание картин входило и в мою душу, успокаивало от житейских, творческих страстей и мое сердце. И ведь все эти картины я затем много раз видел на всевозможных выставках и форумах. Но никогда они не рождали во мне того первоначального трепетного чувства, что испытывал я в мастерской художника. Видимо, в этих больших и малых, но духовно «холодных» залах нарушалась та сакральная аура, та тончайшая мистическая связь, что делает зрителя и картину сопричастными друг с другом. Духовная пустота казенных залов плохо пропускала эти невидимые токи, исходящие от картины. Потому не каждая душа их и улавливала. Не всякий зритель был и настроен их уловить. И это объективно. Тут сетовать не на что. Но я-то испытал совсем другое чувство в мастерской художника и именно его берег, лелеял в своем сердце.

Вот картина «Спаси и сохрани». Под беспокойным, облачным, высоким небом на холме, окруженном глубокими рвами-оврагами, стоит окаймленный кремлевской стеной старинный град Нижний Новгород. Шумит где-то внизу большой, разросшийся новый город (художник его прорисовывает хоть и тщательно, но красками затемненными, приглушенными. Даже Волга с пароходами и баржами свинцово темна, как бы отстранена от главного действия, происходящего в картине). Но не над ним, а именно над кремлем, над старинным Архангельским собором простерла свои ладони, незримо охраняя от всего злого и темного, Мать Бога нашего Пресвятая Богородица. Никому Она не зрима (Занюга дает только Ее контуры, прорисовав их белилами — парящую над вечным, оберегающую это вечное), но всякое согретое верой сердце присутствие Ее, безусловно, ощущает.

Другая картина — «На рубеже тысячелетий» — это символ неиссякаемой борьбы добра со злом, света с тьмой. Над городом, данным широкой панорамой, над слиянием двух великих русских рек Оки и Волги в небесах происходит жестокая невидимая брань — поражает страшного темного змея своим копьём Георгий Победоносец. И опять город погружен во тьму — живет греховно, торопливо, суетно. Но живет. И только потому, что в вечной битве добра со злом, зло добром еще победимо. И когда это происходит, озаряются небеса легким бирюзовым живительным светом. И высота их, как на другой картине художника, названной «Пред небесной высотой», несказанна. И кажется — старинный город, омываемый древними водами, такой крохотный на земле, весь устремлен своим вековым взором туда, в бесконечную жизнесодержащую высь.

Вообще, небо — это один из любимых сюжетов в картинах Владимира Занюги. Художник влюблен в простор, в вольность. Они — одно из необходимых условий существования его творчества. Практически, все крупные его работы — и те, о которых я уже сказал, и ряд других картин, таких как «Звон небес», «Звон колоколов», «Вечернее Заволжье», «Травы вечности», «Детство», «Дыхание вечности», «Небеса благословенные» и так далее, все названия просто невозможно перечислить, немислимы без этой главной сюжетной и композиционной детали. Даже не так. Небу в его произведениях уготован образ, привносящий в картины основное духовно-философское наполнение. Еще одна отличительная черта живописи Занюги. Его произведения наполнены «вкусом жизни», и в этом их оптимистическое начало. Его букеты цветов, ветви с яблоками, рыбы, лежащие на зеленой траве, озерные кувшинки — все есть гимн жизни, гимн Творцу, создавшему ее.

Но с другой стороны, погружаясь в подобные ощущения и переживания, автор невольно приходит (и приводит за собой зрителя) к необходимости «спокойного», философского осмысления бытия. И если в первых, уже перечисленных мною картинах, он более прямолинеен, нетерпелив в утверждении своих убеждений, то в последующих работах этот внешний накал спадает. Зато пробуждается глубокое внутреннее сосредоточие. Именно поэтому картина, на которой изображен преподобный отец наш, святой Батюшка Серафим Саровский, уже лишена внешних «раздражителей». Она сосредоточенно спокойна. И зрители это сразу почувствовали. Когда полотно было выставлено на всеобщее обозрение во время одной из православных ярмарок в павильоне Нижегородской ярмарки, то не случайно люди останавливались возле него, молились перед этим образом старца, прикладывались к картине, как к иконе. Потому что художнику удалось в ней передать вечно живущий в нас духовный вкус к жизни, его философское начало — которое, конечно же, не только в физическом потреблении, но, в первую очередь и превыше всего, в духовном.

Но я немного увлекся, нарушил последовательность, отойдя от главного сюжета моего повествования.

Так вот. Во время наших встреч мы обсуждали и сотрудничество художника с «Вертикалью». В конце концов, Владимир разработал эскиз обложки нашего журнала, а затем и многие репродукции с его картин стали настоящим украшением издания, той самой одежкой, по которой его стали узнавать читатели и критики. Конечно, если я скажу, что наши взаимоотношения были легки и безоблачны, то, бесспорно, погрешу против истины. Надо знать мой характер — вспыльчивый, нетерпеливый, от которого сам я страдаю больше, чем мои друзья. Но Владимир неизменно в таких «конфликтных» ситуациях проявлял твердость и сдержанность, чем просто обезоруживал и покорял меня. В наших взаимоотношениях он всегда оказывался выше и мудрее, чем сберег вначале и оберегает до сих пор нашу дружбу. Откуда все это в нем? Как образовалось, прижилось в его духовном мире?

Сын офицера-пограничника, начальника заставы. Родился на берегу реки Аракс, южном рубеже тогда Советской Армении. До шести лет колесил с родителями по заставам, пока в шесть лет не оказался в Нижнем Новгороде (тогда, конечно, Горьком). Рисовать стал с самого детства — везде, где придется, куда рука достанет. Видя все это, родные сначала удивлялись, а затем поняли, что не стоит это в мальчишке подавлять, и тогда сестра отвела Володю в художественную студию при Дворце культуры имени В.И. Ленина.

Это сейчас здание Дворца стоит в ужасающем состоянии — выбитые окна, разваливающиеся стены, порушенные лестницы. Тогда же, в шестидесятые годы двадцатого века, как его вспоминает Владимир, это был храм искусства. Великолепная, в богатых рамах живопись украшала стены, хрусталь, венецианское стекло, бронза, старинное оружие, вазы, скульптуры, книги, военные каски — вот чем были насыщены комнаты и залы Дворца. И это все было действительно так. Во-первых, мы с Владимиром почти одного возраста, и многое я видел собственными глазами. А во-вторых, мне доводилось разговаривать с бывшим директором Дворца имени В.И. Ленина, затем начальником областного управления культуры А.Г. Трухмановым. Было это уже в начале нынешнего века, и Анатолий Геннадьевич недоумевал и сетовал — куда подевались те многочисленные, более тысячи экземпляров, антикварные вещи и великолепные произведения искусства, которые в свое время, еще с открытия дворца в 30-х годах были туда переданы из Эрмитажа, Русского музея и др. знаменитых художественных сокровищниц.

— Теперешние власти города говорят, что у них нет денег для ремонта Дворца. — Горячился Трухманов. — Да одних тех сокровищ было бы достаточно (реализуй их на аукционе) заново построить два таких здания.

Впрочем, это воспоминания — опять невольное отступление от главной темы.

Владимир же всегда вспоминает свою учебу в студии с неизменным теплым чувством, даже восхищением. А затем, что ж — в шестнадцать лет поступил в Горьковское художественное училище. Тут новые достижения, новая творческая аура, открылись новые художественные миры — реализм русской художественной школы, классицизм, импрессионизм. И хотелось, невольно, всему подражать, все пропустить через себя, все попробовать, примерить к своим способностям. Молодость — самое время для открытых поисков, для утверждения себя в этом мире, который не всегда, особенно для человека творческого, доброжелателен и радушен, не всегда готов твои пробы и ошибки принять и простить. Владимир все это сполна испытал на себе. Но так, постепенно, и вышел он на свою, одному ему предназначенную стезю. Несмотря на все увлечения «заморскими» изысками, милей ему оказалась иконопись наших предков. Еще до армии, начиная с 1973 года, Заного всерьез увлекся русской православной культурой. Он собирал иконы, старинные вещи русского обихода, быта. Все это не ради коллекционирования и накопления, а исходя из духовной потребности. Немного позже, уже с будущей своей супругой, замечательной художницей-акварелисткой Ниной Ждановой, в 1975 году они совершают свое путешествие на Русский Север — в Соловецкий монастырь, затем в Кижи. Много работают, пишут этюды. Все это творчески и духовно наполняет художника, формирует основу его дальнейшего укрепления в открывшемся, приобретенном мировоззрении. Все это в дальнейшем, после службы в рядах Советской Армии, приведет его к закономерному итогу. Он окончательно осознает себя православным человеком и художником. Потому в 1990 году уже осознанно крестится, а в 1991-м под его кистью рождаются два полотна, глубоко мировоззренческих и в то же время этапных — «Георгий Победоносец» и «Русь распятая» (другое название «Русь православная»). У меня такое ощущение, что этими двумя картинами Заного как бы «сжигает мосты» в прошлое, отвергает возможные компромиссы с совестью. Особенно работой «Русь распятая». Это своего рода творческая исповедь. Сюжет картины непрост. Центр ее — распятие Христа. Но современное, на металлическом кресте, сваренном из швеллеров, а внизу, у подножия его, у подножия новой Голгофы пылает в огне русская земля. Вроде бы все гибнет, нет спасения. Но ведет к кресту своего сына молодой отец, указывая ему рукой на новое распятие пришедшего в современный жестокий мир Спасителя. И мы понимаем, что указывает он на истинное для человека: его жизнь и судьбу. Да, картина не проста для восприятия, сложна композиционно, эмоционально перегружена. Но, видимо, так было необходимо художнику. Так Владимир Заного утверждал свой незыблемый краеугольный камень под фундамент своего искусства. Теперь сойди с него, отклонись в сторону, и всякий имеет право бросить тебе в лицо — трус и спекулянт. На чем играл — на наших чувствах, нервах, переживаниях? Конечно, это не так. Трусливые люди настолько перед зрителем своего сердца не обнажают. Они всегда нечто берегают на потом, готовят пути к отступлению. Для них, хоть в живописи, хоть в литературе, духовные, нравственные принципы — это некая условность, игра, дающая возможность покрасоваться, подискутировать, но на самом же деле — совершенно не влияющая на их повседневную жизнь. Тем более, на жизнь в перспективе, на существование, предполагающее многие годы впереди. Иными словами — выгодно и я принимаю ваши условия, уж коль они все равно востребованы в обществе. Будет невыгодно — я с легкостью от них откажусь, забуду, отстраню от себя, как старую, отслужившую свой срок вещь. Но только истинно принявший в сердце новый для себя закон (хотя он и вечен, существовал всегда в поднебесном мире) может к своим картинам делать такие подписи-откровения, подписи-мечтания, подписи-пожелания, какие делает

Владимир Заного. Честно признаюсь — я сразу же, с первого посещения мастерской художника обратил внимание на эти ровные листики бумаги, аккуратно прищипленные к стенам, на которых каллиграфическим почерком были выведены цитаты из трудов святых отцов, из книг Евангелий, из апостольских посланий и акафистов. Но были на этих листочках написаны и незнакомые мне стихотворные строки. Конечно же, я поинтересовался у хозяина — что это?

— Да это так, — последовал ответ художника, — не подумай, что стихи. Просто к некоторым, особо важным для меня картинам, у меня сами собой рождаются такие подписи. Хотя однажды на своей персональной выставке я их разместил под картинами, и они вызвали живой интерес у зрителей. Видимо, эмоционально подписи с изображенным на картинах совпадают и рожают в зрительском сознании какие-то особенные чувства. Может быть, делают более сопричастными к замыслу художника, моему замыслу. Во всяком случае, мне хотелось бы на это надеяться.

И тогда я уже с более основательным любопытством начал читать написанное на этих карточках. Конечно, все сейчас не упомянуть, но вот что сохранила с тех пор память.

*На рубеже эпох, столетий
Над миром вновь завис дракон.
Но с неба ветер, воин-ветер
Сметет греховности закон.
Лишь обратясь молитвой к небу,
Постами тело укрепив,
Мы обретем покой и веру,
Любви божественной прилив.*

*Ликует Свет и торжествует,
Георгий в Славе на коне,
Небесный звон благовестует
Победу Правды на земле.*

Это к картине «На рубеже тысячелетий». А вот к другому большому фундаментальному полотну «Христос и Пилат»:

*Свеча вселенская горит...
Пронзая Истиной земное,
Христос нас Светом озарит;
Пилат отравит вечной тьмою,
Он яд неверия хранит...
Свеча вселенская горит.*

И уж коль я вспомнил об этих строках, то как не сказать здесь, что именно это полотно — вместе с картиной «Несение креста» — просил оставить для себя покойный ныне митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов). До этого он дважды побывал в мастерской художника, принимал его и у себя в епархиальном управлении. Благословил написание картин «Несение креста» и «На рубеже тысячелетий». А картину «Ангел-хранитель» приобрел для себя (Это замечательная работа. На ней изображен старинный Благовещенский мужской монастырь, что расположен в центре Нижнего, на берегу Оки. Монастырский комплекс погружен в сон, но Соборы, братские корпуса охраняются парящим над ними в небесах светоносным ангелом с сияющим крестом в одной руке и карающим мечом в другой).

И уж чтоб совсем закончить религиозно-мировоззренческую тему в живописи Владимира Заного, скажу, что творчество художника полноценно востребовано зрителями и издателями. Репродукции его картин во множестве использованы на православных календарях, украшают

обложки десятков журналов и книг, его выставки неизменно посещают многие любители живописи, его отдельные картины берут для выставления во время самых значительных культурно-просветительских форумах. Изображения их помещены и в художественных каталогах и альбомах. А совсем недавно часть его работ (картины «Ангел-хранитель», «Спаси и сохрани», «Русь православная», «Несение креста», «Пред небесной высотой», «На рубеже тысячелетий», «В.И. Даль в Нижнем Новгороде», «Дыхание вечности», «Георгий Всеволодович — основатель Нижнего Новгорода») были опубликованы вместе с другими знаменитыми русскими художниками (Павел Рыженко, Василий Нестеренко, Константин Васильев и др.) в замечательном, событийном альбоме «История России в картинах современных художников» (Москва, 2007 г.).

Уже прошло множество персональных выставок художника. О нем написаны статьи, сняты сюжеты на телевидении. Но что это по сравнению с теми замыслами, что ждут своего воплощения впереди.

Я опять посмотрел вверх на вершины берез. Они все так же беспокойно шумели в голубой вышине, хотя день клонился к закату. Я давно перебрался с лавки у костра к столу, за которым написал довольно большую статью для газеты, а Владимир все еще никак не возвращался из своей водной одиссеи. Невероятно, как можно писать этюд в ботнике, от малейшего дуновения ветра по живому колышащегося у тебя под ногами. А ведь еще и сам тяжеленный этюдник нужно как-то установить, приспособить к работе. И тут мне невольно вспомнился случай, произошедший с одним моим приятелем год назад здесь же во время охоты. День клонился к вечеру, начинался лет дичи и все мы, приплывшие на остров охотники, отправились на ботниках по своим местам. У меня над водой, между трех берез, был сколочен настил. Вот на нем я и остался встречать вечернюю зорьку.

Если честно, то стрелять на охоте по пролетающей дичи далеко не всегда есть желание. Иногда хочется просто постоять в тишине, прислонившись спиной к дереву, подумать о чем-то своем, созерцая угасающий день, проходящие в небе облака, легкие лесные движения — падение веточки, перелет с дерева на дерево малой пичужки. В таких моментах для меня самым дорогим является чувство умиротворенного одиночества. Не опустошенного одиночества, что сродни ощущению брошенности и ненужности тебя самого миру, а именно одиночества умиротворенности, покойности. В этот вечер я стоял под еще не одевшимися в листву березами, смотрел на озеро, покрытое мелкой неспокойной волной, и каждой пролетающей мимо утке (кстати, всегда это было либо высоко, либо в стороне — выстрелом не достать, будто птицы понимали мое душевное состояние и не хотели искушать) желал благополучно миновать выплунутую из безжалостных охотничьих ружей раскаленную свинцовую дробь.

Стоял я так в одиночестве (даже ружья с плеча не сняв), невольно отмечая, что день уже почти угас и сумерки все плотнее опускаются на лес, озеро и виднеющийся невдалеке остров, как вдруг до моего уха донеслись легкие звуки опускаемого в воду весла. Я пригляделся и увидел своего товарища. Он уже был недалеко от берега, когда заметил налетающих на него уток. Бросив весло, он вскочил, вскинул ружье и так, стоя в ботнике, выстрелил. Но я же рассказывал, что такое ботник. Лодченка легка, маленькая и крайне неустойчивая. Отдачи от ружья и неосторожного движения было достаточно, чтобы мой товарищ, так необдуманно и самоуверенно поступивший, не удержав равновесия, перевернул ботничек и оказался в ледяной воде. Ладно, ружья не утопил. До острова ему пришлось брести пешком по грудь в холодной воде, волоча за собой перевернутый ботник. Вот такая и смешная, и невеселая история произошла однажды на нашем острове. Так что ботничек — лодочка коварная.

Но у Владимира, слава Богу, все обошлось. Ближе к закату он вернулся целым и невредимым. Правда, с несколько подпорченным настроением. Он действительно писал этюд, стоя в ботнике, прямо с воды, как-то «прижавшись» к березе. И этим «некомфортным» обстоятельством был несколько раздосадован, даже расстроен. Но этюд получился хорошим — стоящая в воде березовая роща, а посередине ее просека. И опять же голубое небо, облака, чайки — неизменный знак многих его картин и этюдов.

Напились чаю. У меня на сердце было хорошо, даже празднично. Будто долгожданный друг в гости приехал из далека-далека. Потому, пока Владимир перекусывал, я собрал на острове всякие веточки, подбросил их в костер для веселья и обратился к нему с вопросом.

— Ну, как?

— Зря мы сюда приехали. С воды писать невозможно, я как только ни приспособивался, а здесь на суше видов нет, нет перспективы, свободного воздуха.

Я расстроился. Ведь это была моя инициатива — пригласить Заногу на остров. Что же получается, зря человека от работы оторвал?

— Да найду я тебе сейчас виды.

Уйдя от костра, я стал обходить остров по периметру, и тут обратил внимание на причаленный к берегу ботник. В лесу, среди деревьев, на воде с отблесками заката, стоит, уткнувшись носом в берег, лодка. Я позвал Володю.

— Смотри, как красиво. И в то же время чувство какое-то грустное рождает.

Володя неспешно, даже скептически подошел ко мне, посмотрел, затем так же неторопясь вернулся к костру за этюдником. Больше я его не отвлекал. Пусть пишет. Может быть, хоть малая доля моей вины с меня снимется.

Уплывали с острова уже в сумерках. Владимир был задумчив, я — молчалив. У хозяина дома, в котором ночевали, Владимир вынул из этюдника и поставил сушиться свои работы. Оба этюда были очень хороши. Но если в первом ощущалась некая стандартность положения, вида, то второй, с лодкой, был более оригинальным и душевно затрагивающим. Так мне показалось тогда, так же я его ощущал и среди других работ художника, уже показанных на разных выставках.

Вообще, пейзажи и натюрморты Владимира Заного — это отдельная и очень большая часть его творчества. Написал он их за годы своей работы множество. И все это, конечно же, требует какой-то профессиональной оценки, профессионального осмысления. Я, к сожалению, не специалист в области живописи, но какие-то слова об этой стороне творчества Владимира сказать хочется. Все-таки многое пришлось видеть в качестве первого зрителя, наблюдать за созданием этих живописных произведений, участвовать в их обсуждении. Да и у меня самого в личной коллекции хранятся несколько этюдов, подаренных автором. Конечно, этюд, натюрморт или пейзаж — это не жанровая картина. У этих работ другие задачи. Они более созерцательны и обращены не столько к разуму зрителя, его интеллекту, сколько к более тонким духовным переживаниям, к эстетическому вкусу человека. Работая в классической традиции русской живописной школы, Заного и свои натюрморты, пейзажи пишет только вживую, перенося на полотно красками не только красоту увиденного, но и состояние природы, состояние окружающего мира, свое ощущение его. Свое переживание и постижение этого мира.

Ведь чего греха таить — теперь сплошь и рядом художники, работающие на потребу обывателям, поступают очень просто. Они делают снимки на цифровую фотокамеру, а затем в мастерской, в тепле и удобстве с этого электронного изображения рисуют картинку. И у них получается в итоге не живописная работа, а перерисованная на холст или картон

плохая безжизненная фотография. Вроде бы все красиво, технически неплохо, а то и безукоризненно, а жизни нет. Нет произведения искусства. Изображение и от фотографии ушло, и к живописи не пришло. Осталось холодным и бессодержательным.

Совсем по другому отношению к своему творчеству Владимир. На следующий день после того, когда мы еще раз сплавали на ботничке к нашему острову, а затем, вернувшись на «большую землю», расположились к дневному отдыху, Владимир вновь установил свой этюдник и начал писать пыльную, песчаную сельскую дорогу, поднимающуюся на бугорок, на котором стояло несколько старых, обтрепанных ветрами сосен. День выдался жарким. Будто время было не весеннее, а самый разгар лета. Походив по округе, повозившись в машине, я начал приставать к Заногге, торопя его с отъездом. Но Владимир был непреклонен. Под палящим солнцем он мазок за мазком наполнял этюд запахом разогретых трав, шорохом веток от колышавшего ветерком куста бузины. А еще в его работу неведомым мне образом вкрадывалось ощущение нашего исторического русского прошлого. Этюд получался в своем внутреннем состоянии вневременным, затрагивающим категории вечные в душе зрителя. Затем эта работа также много раз выставлялась на выставках, и почти всегда особо отмечалась зрителями.

Искусствовед Екатерина Пухова, говоря вообще о творчестве Владимира Заногги, отмечала: «Главная тема сегодняшнего творчества художника — возрождение исторической памяти в современном человеке и возвращение к истокам его духовной культуры... Для В.Заногги не существует трагического разлада прошлого и настоящего, он удачно соединяет элементы древнерусской живописи с современной художественной системой. Образы, созданные художником, выступают в роли узнаваемой общекультурной русской символики, вызывают ассоциации с христианским миром, прошлым, настоящим и будущим».

Мне кажется, что это совершенно точно подмечено. Потому что даже в пейзажах духовный мир самого художника — истово православного человека — неизменно присутствует. А это уже показатель истинности таланта. Это уже не самовыражение себя в искусстве, а дополнение мира искусства своим духовным содержанием. Кстати, по этому внутреннему ощущению пейзажи Владимира перекликаются с замечательными «воздушными» акварелями его супруги Нины Ивановны Ждановой. Тончайший лирик, Нина Жданова привнесит в свои произведения неповторимое обаяние, теплоту, я бы даже сказал — чувственность. Из ее акварелей свет «сочится» откуда-то из глубины. Он не сконцентрирован, он разлит внутри изображения, им насыщена художественная плоть акварелей Ждановой. Ее любимые сюжеты — цветы, цапли, природа. Все изображается задумчиво, неброско. Либо в сумерках затухающего дня, либо в слабых проблесках зарождающегося солнца. Акварели Нины, а я многие из них видел не только на выставках, но и в мастерской художника, пронизаны предчувствием, ожиданием. Они нежны и хрупки. Это первозданный мир гармонии, только что зародившейся из предчувствия.

Работы же Владимира Заногги — это уже совершенный, устоявшийся мир красоты. Уже все возможное свершено. Краски природы яркие, насыщены. Это радость созерцания чуда, восторг от творения Божия.

Ну, что же, вот наша поездка и подошла к концу. Этюд с соснами дописан. Немного устало загружаю вещи в машину. Вижу, Владимир еще полностью не отошел от только что завершенной работы. Он возбужден, разговорчив, глаза посверкивают. Я за него рад. Видно, поездка не оказалась пустой, не прошла даром. Теперь останется в памяти маленькой шкатулочкой, которую по мере надобности, когда придет черед работать над новой большой картиной, он может открыть и чем-то из сохраненного в ней воспользоваться.

— Ну, что, в обратный путь? — спрашиваю я, глядя на Владимира, тоже повеселев.

— С Богом, — кивает в ответ Заного.

Я поворачиваю ключ зажигания. Оживает двигатель. Трогаемся с места, и очень скоро, где-то сзади в Борских болотах и озерах, карьерах и перелесках теряется крохотная деревенька, а за ней широкая гладь воды и наш остров с высокими березами, так беспокожно шумящими своими вершинами.

Но, как оказалось, и Виктор Пурихов о своем обещании не забыл. Прошло несколько недель после нашего с Владимиром короткого путешествия, и Виктор Иванович вдруг тоже загорелся желанием осуществить задуманное зимой — свозить-таки нас на своей «Ниве» к реке Пьяне. Показать места начального вдохновения, детства, а теперь и удачливой рыбалки.

Весна к этому времени почти уступила свое первенство лету. Закончились разливы. Реки, еще напористые, полноводные, но уже успокоившиеся после шалого половодья, вновь вернулись в свои исконные, привычные берега. Солнце светило по-доброму, без утомляющей жары. Но зато как ожили под его теплом первые полевые цветы. Какой свежестью, жаждой жизни веяло от них. Как ласкали они взгляд сочностью первозданных красок. Ну, не праздник ли это для души? Разве в такую пору не тянет вновь вырваться за городские пределы, подышать вольным воздухом?

Конечно, и город весна не обошла стороной. И здесь молодая зелень травы, листья на деревьях радовала взгляд. Да разве сравнишь ее с тем буйством жизни, которое вырвалось из-под земли по холмам, полям да лесным опушкам, проросло из малых семян, скрытых до времени от злых холодов в толще пожухлой травы. И вот теперь, по неведомому нам повелению, эта потаенная, сокрытая до времени жизнь проснулась, устремила к солнцу.

Так что новые сборы были недолгими. На этот раз встречались у мастерской Владимира Заного на улице Новой. Его груз традиционно оказался самым объемным и значительным — этюдник, картон для работы, сапоги, теплая одежда, припасы. К любому выезду из своего творческого убежища Владимир относится с максимально возможной тщательностью и основательностью, пытается предугадать все могущие произойти с ним во время путешествия напасти и быть в полной готовности к их преодолению с самым минимальным уроном для себя и своих спутников. Мы с Виктором в этом отношении люди менее прагматичные и почти беззаботные. Правда, он-то едет к себе домой, где, если что-то случится, то уж никак не пропадет. А я... ну, да ладно, чего уж теперь.

Пока машина мчится по еще окончательно не проснувшемуся, утреннему Казанскому шоссе, мы справа по ходу движения видим, как несколько раз праздничным серебром сверкнула своей широкой гладью Волга. Но вот сворачиваем в сторону Большого Мурашкина. Дорога утихает. Встречных машин почти нет. Наш разговор незаметно, сам собой переходит на темы творческие. Правда, если быть совсем точным, однажды подобная тема в нашем дорожном общении все-таки возникла. Случилось это в Кстове, когда проезжали мимо памятника Ленину, возвышавшемуся на центральной площади города. Автор этого бронзового монумента скульптор Павел Иванович Гусев, народный художник России, земляк и учитель Виктора Пурихова. Как и Виктор Иванович, только намного раньше, еще в самом начале тридцатых годов прошлого века он начинал свой путь скульптора с учебы и работы в камнерезном цехе при Борнуковской артели по переработке гипса. Там, в селе Борнукове, на берегу Пьяны в образовавшейся природной пещере добывали гипс — мягкий белый камень, который оказался прекрасным материалом для изготовления из него фигурок зверей, небольших скульптур и

еще множества всяких художественных поделок. В 1930 году камнерезный цех основал приехавший с Урала скульптор П.А. Шальнов. Вот у него-то и стал прилежным учеником Павел Гусев, который впоследствии закончил Московское художественное училище им. М.И. Калинина, а после Великой Отечественной войны молодой скульптор отучился в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Академии художеств СССР. Причем, окончил это творческое учебное заведение с отличием.

Именно Павел Иванович заметил в мастерских одаренного и старательного паренька Витю Пурихова, настоял на его дальнейшей учебе, следил за его творческим ростом. Да и Виктор Иванович с неизменной благодарностью вспоминает о своем наставнике и учителе.

Вообще-то, Пурихов и сам человек удивительной творческой судьбы. Родившись в 1941 году все в том же селе Борнукове, он после окончания сельской школы пришел на камнерезную фабрику «Борнуковская пещера». Причем, очень быстро добился того, что начал работать самостоятельно, без наставников. После службы в армии, как безусловно одаренного камнереза, предприятие направит его учиться в Абрамцевское художественно-промышленное училище имени В.М. Васнецова. А вот после учебы Пурихов приедет уже в Горький, в мастерскую скульптора П.И.Гусева и проработает бок о бок с мастером несколько лет. Так что не все просто было в его судьбе. Талантом-то природа Виктора Ивановича наградила, но не случилось таких важных в его жизни встреч, не будь сам он столь упорен и работоспособен — не видать бы нам теперь заслуженного художника России. И многих памятников, скульптур тоже бы не видать. Конечно, было бы что-то другое — может быть, лучшее, может быть, худшее. Но ведь ценность любого художника, любого деятеля искусства именно в том, какой творческий мир вокруг себя он создает. В орбиту этого мира включается очень многое — общение со зрителями, общение с читателями, общение с коллегами. И именно эти миры образуют национальную атмосферу культуры, насыщают ее интеллектуальным, нравственным, эстетическим и духовным содержанием. И потому каждый из этих миров ценен и необходим для всех нас, для нашего общества, для нашей истории и культуры. То, что делает, создает художник — это принадлежит не только ему, но всему человечеству.

Я помню, как впервые по приглашению скульптора пришел к нему в мастерскую. Как шагнул с заснеженной улицы (а дверь мастерской выходила прямо во двор стандартных пятиэтажных домов) в новый, неведомый мне доселе мир. Именно так — без всяких прихожих, коридоров, подготовительных топтаний у заветной двери. Нет, именно сразу и с полным погружением в иную сущность бытия, в пространство и время, содержащие иную оценку. И первое, что меня в этом новом пространстве встретило — белоснежная скульптура Александра Сергеевича Пушкина в полный рост. Поэт стоял, прислонившись спиной к невавскому парапету и спокойно, задумчиво взирал на незнакомца, вдруг оказавшегося перед ним. Я помню, что тогда сразу подумал — наверно, души героев произведений, созданных скульптором, тоже должны витать, жить где-то здесь. Или, во всяком случае, навеваться в это пространство, заглядывать за эти стены. Когда же я отвел взгляд от задумчивого лика поэта, то в дальнем углу мастерской увидел другую большую скульптуру — Господа нашего Иисуса Христа. Пурихов назвал ее «Христос благословляющий». И действительно, на ладони левой руки спасителя покоится держава — символ земной власти. Пальцы левой руки, которая поднята на уровне груди, сложены для благословения. Взгляд сосредоточенно-проницательный. Вот между двумя этими скульптурами и находился воплощенный в металле, камне, дереве, гипсе, глине, граните художественный мир, созданный Пуриховым. И это воистину символично. Разве русский художник может пройти свой путь, не обра-

тившись к этим образам — краугольным и основополагающим в нашей культурной и духовной жизни. Конечно же, это немисливо, если иметь ввиду под художником не поделщика, работающего только ради денег на сегодняшнюю, а сиуниминутную потребу мало взыскательной публики, а творца — совестливого воплотителя в жизнь того таланта, которым наделил его Господь, тех образов, что Он открыл ему для явления миру в вещественном, природном материале.

Большая мастерская была просто забита работами, созданными скульптором. Они плотно стояли на стеллажах, протянувшихся вдоль высоких стен. Большие скульптуры, вырубленные из дерева, отлитые в гипсе и еще только находящиеся в работе, в глине (плотно укутанные сырым целлофаном), загромождали почти полностью остальное пространство мастерской.

Повторюсь, для меня это был новый, доселе неведомый, не пережитый и под себя не адаптированный мир. Он волновал, тянул к себе, но и непонятно отчего настораживал.

Вообще-то подобные чувства я испытываю почти всегда, когда попадаю в мастерские к настоящим, талантливым художникам. В них ощущаешь присутствие неких сил, существование которых невозможно объяснить разумом. Но душа ощущает их, откликается на них особым трепетом, волнением. В мастерских, где художники работают в современной технике изображения пространства, на выставках, где их полотна экспонируются, этого со мной не происходит. Видимо, только эстетических и интеллектуальных изысков для того, чтобы затронуть самые потаенные чувства зрителя, все-таки мало. Для того, чтобы на твою творение он, зритель, искренне и глубоко откликнулся, видимо, в свою работу, в свой труд, в свое творчество необходимо вложить еще некую тайну, которая величается талантом и вдохновением.

Виктор Пурихов работал и работает в традициях русской классической школы, без всяких, так модных сейчас авангардических изысков и «штучек». Потому и добивается в своих скульптурах глубокой выразительности. Потому они так содержательны и проникновенны.

Уже потом, намного позже, мне довелось прочитать у одного из нижегородских искусствоведов такую оценку его работ: «Виктор Иванович Пурихов — достаточно редкое явление в нашей художественной жизни. И скульпторов у нас не так много, как живописцев и графиков... А между тем искусство скульптуры — одно из древнейших великих искусств... Но не простое воспроизведение натуры является целью скульптора. Пурихов ставит перед собой задачи высокого образного порядка: во внешнем раскрыть внутреннее». И верно — творчество истинного художника несет в себе нечто индивидуальное и сокровенное, что, собственно, и является не всегда объяснимым, но очень притягательным для нас, зрителей, эстетических потребителей его труда.

В то свое первое посещение мастерской я долго рассматривал работы Виктора. Ходил от скульптуры к скульптуре. К каким-то возвращался вновь. Но одна работа Пурихова уже тогда особенно взволновала, «зацепила» меня. И потом, когда доводилось попадать в его «святая святых», я опять зачарованно останавливался около этой небольшой, выполненной в дереве скульптуры матери Виктора Ивановича — пожилой крестьянки. Всю ее нелегкую жизнь эта скульптурная работа вместила в себя. Все автор смог передать, выразить в ней. А ведь сколько выпало всего на долю этой русской женщины, сколько пришлось пережить, вынести. И каким чудом, каким непостижимым умением скульптору удалось, очень экономно используя внешние выразительные средства, донести до зрителя всю историю этой непростой жизни, всю тяжесть нелегкого крестьянского труда, что прошел непрерывно сквозь всю ее жизнь, но, одновременно, и безмерной любви, скопившейся в ее сердце за все эти тяжелые годы, для меня остается тайной неразгаданной, непостижимой. Только я понимал — передо мной образ насыщенный глубокой, не

показной, а искренней человеческой любовью, человеческой добротой. Женщина стоит, одетая в грубую, поношенную рабочую деревенскую одежду, прижав к груди левую руку и всматриваясь с печалью в даль. Сколько волнения и тревоги несет в себе этот образ.

По моей просьбе Виктор рассказал тогда, как появилась скульптура.

— Каждый раз, когда я приезжал в родной дом, в село, а затем опять уезжал на учебу или работу, мама выходила меня провожать далеко в поле. И пока я шел, то все оглядывался и видел, что мама не уходит, а стоит вот так же, как я ее вырубил в дереве, прижав руку к груди, и провожает меня взглядом, пока я не скроюсь из вида. Так ее образ и запечатлелся в моей памяти. Еще при жизни мамы я думал над этой работой. А затем, когда ее не стало, воплотил все задуманное в этой скульптуре.

Но в мастерской я разглядывал и много других интереснейших работ. Например, небольшую скульптуру Иисуса Христа, выполненную из белого камня. Спаситель утомленно идет по пустыне. На лице отражена глубокая задумчивость, отражено погружение в себя. На Христе одежды, спускающиеся с плеч до самой земли. И лишь чуть уловимые ее складки передают эффект движения, указывают расположение рук — на груди и вдоль тела. И опять удивительно экономными средствами, всего несколькими деталями скульптор точно и глубоко передает внутреннее состояние своего героя. Нет ничего лишнего. Только грубый белый камень, по которому, как на вершину горы, поднимается Спаситель. Эта скульптура не так эмоциональна, как портрет матери. Она более философична, но потрясает зрителя ничуть не меньше первой.

Вообще, тема православия близка и понятна Виктору Пурихову. Думаю, тут срабатывают вековые корни, коими врос он в нашу русскую землю, в крестьянскую жизнь. Об этом говорит и то, как много работ ей посвящено — портреты земляков, макеты неосуществленных скульптурных композиций.

А еще в мастерской есть большой скульптурный бюст императора Николая II, проект памятника князю Юрию Всеволодовичу. Изображен князь на коне, в кольчуге и воинских доспехах. В левой руке он держит святую хоругвь, высоко подняв ее над головой, а в правой — опущенный, но в любой момент готовый к бою за Святую Русь, вынутый из ножен меч. (Кстати, пройдет не так уж и много времени, когда памятник основателю Нижнего Новгорода будет установлен. Автором его, хотя скульптурная композиция будет совершенно иной, окажется Виктор Иванович. Видимо, святой уже тогда выбрал его себе в скульпторы.) Но центральное место в мастерской занимал большой, вылепленный в глине памятник святой равноапостольной Нине, просветительнице в христианстве грузинских земель. Памятник около двух метров высотой. Святая держит в руке, как она и изображается на иконах, крест, составленный из двух ветвей виноградной лозы, связанных между собой кривой, которую для этого святая отстригла у себя. Очень сильное, «живое» остается впечатление от этой работы. Как бы такой памятник украсил любую соборную площадь в нашем городе! Да разве только он. Но это уже другая тема, которой я еще обязательно коснусь в очерке. Спустя год небольшой макет памятника святой Нины Виктор подарит мне. Теперь он стоит в моем рабочем кабинете. Даже эти строки я пишу под благословляющим крестом святой. А вообще, Виктором поставлено немало памятников у нас в Нижнем Новгороде и в области. Это бюст маршала Рокоссовского, бюст композитора Балакирева, памятник Герою Советского Союза Евгению Никонову. В Заволжье установлен памятник Юрию Гагарину его работы. А в старинном Городце — памятник святому благоверному князю Александру Невскому. Произведения Виктора Ивановича Пурихова хранятся во многих музеях России, в частных коллекциях за рубежом.

Но что-то я уж слишком далеко отвлекся от нашего нынешнего путешествия. Конечно, дорога не близкая. Сидящие на передних сиденьях Пурихов и Заного болтают без умолку — да все о чем-то своем, мне не очень близком. Ну, действительно, какая мне разница, кто из скульпторов, в каком колхозе соорудил «шабашный» памятник Ленину или бюст знаменитому революционеру, а какой художник какой сельский клуб изукрасил. Помню, с одним таким деятелем я случайно столкнулся в районной гостинице Большого Болдина. Представился он «работником культуры» и убежал по своим «коммерческим» делам — вышибать из председателей колхозов очередные «творческие» заказы, соблазняя и развращая их обещанием мзды. Все это скучно и не интересно.

За окном нашей машины небо посерело, потяжелело. Быстрее бы добраться до места назначения. Да и долго длящиеся разговоры о прокормном «сельском искусстве» в наших сердцах никаких особых чувств не вызвали. Потому тема эта в разговоре впереди сидящих сама собой поутихла, истощилась. И лишь когда дорога пролегла сквозь только что вспаханные поля, жирно поблескивающие отвалами чернозема, мы вновь принялись делиться впечатлениями от увиденного.

В районный центр Бутурлино въехали ближе к обеду. Оставив машину на обочине центральной площади, направились в местный краеведческий музей, где у Пурихова в эти дни проходила юбилейная персональная выставка. Но старинный купеческий дом, в залах которого и разместил свои экспозиции музей, по случаю выходного дня оказался закрытым. Подергав за ручки запертые двери, посокрушавшись и посожалев, что не увидим выставки друга, мы еще совершили пешую прогулку по центру поселка (церковь, памятник павшим в Великой войне, памятник Ленину), закупили недостающие продукты в местном магазинчике, и отправились дальше в путь — уже недалгий. К тому же нетерпение моих спутников, их желание побыстрее добраться до места назначения было явным. Хотя, признаюсь, я с некоторым удивлением спрашивал себя — куда так торопимся? Когда же Виктор вновь остановил машину на вершине одного из холмов и мы, выйдя из нее, ахнули от открывшегося перед нами простора, воли, раздолья, то Владимир Заного и до этого-то все увиденное во время поездки воспринимавший крайне восторженно и эмоционально, тут и вовсе не выдержал и заговорил, что называется, «высоким штилем». Пурихов несколько снисходительно, по хозяйски его восторги поддерживал. Я в это время определенно понял, почему торопятся мои спутники. Художнику не терпится поскорее начать писать этюды, скульптору — взять спиннинг и отправиться бродить по берегу Пьяны. Меня же, вольного созерцателя, никакая вдохновенная творческая забота или нетерпеливый добыческий азарт вперед не гнали. И предвкушал я только одно — доброе общение с моими друзьями да открытие для себя новых, до сей поры неведомых мест. Потому внутренне все больше замыкался, невольно сосредотачивался, готовясь впитывать в себя, заполнять неведомые внутренние кладовые новыми впечатлениями и переживаниями. И должны они были лечь, что называется, на чистый лист — не помятый и не почерканный необязательными, поверхностными впечатлениями.

Дом Пурихова оказался стоящим тоже на вершине взгорка. И был он один из немногих, пока еще уцелевших, не снесенных домов по старой сельской улице. Всю когда-то большую деревенскую улицу снесли не потому, что жить на ней стало некому. Нет. Виной оказался щебень, который нашли в недрах холма, на котором на свою погибель и стояла деревня. Щебень начали добывать для строительства дорог, а на людские заботы как всегда наплевали. Конечно, выплатили людям какую-то компенсацию за утраченное жилье. Но что значит бросать вековечно обжитое место и вновь обустриваться на чужой, незнакомой, не согретой жизнями многих поколений земле. Виктор Иванович еще до поездки рассказывал нам, что пытался с этой вопиющей несправедливостью

боротся, ходил по высоким инстанциям, стучался во властные кабинеты, доказывал, что нельзя запросто уничтожать поселение, века назад основанное нашими предками. Камень можно найти и в другом месте, а вот так просто создать новую деревню не получится. Нужны столетия, чтобы земля и люди, на ней поселившиеся, почувствовали свою кровную связь друг с другом, сроднились. Не одно поколение должно родиться, прожить на этой земле, потрудиться, пережить радости и печали, наконец, опять уйти в нее, матушку-землю, прежде чем она приобретет свое мистическое предназначение в жизни новых поколений, в истории страны в целом. Но все оказалось тщетно. Все усилия были напрасными. Жуткая психология временщиков вот уже сколько десятилетий терзает Россию, которая для них и не живая земля вовсе, не «матушка», а некая безликая производственная территория. Которая, для «высоких умов», то вдруг становится неперспективной, то надумывают огромные ее пространства затапливать искусственными водохранилищами. Теперь вот и вовсе срывают, как некий ненужный, лишний хлам, тем самым безжалостно уничтожая русское пространство, за счет которого только и существует великое государство.

Объясняли Виктору в разных чиновничьих кабинетах, что, мол, дороги нужны для сельской местности. При этом подразумевали — какой ты недалекий, не можешь мыслить масштабно, с перспективой. А на проверку временем оказалось, что именно Пурихов думал и о перспективе, и о масштабе. Ведь для людей они в первую очередь должны быть необходимы — эти вновь выстроенные дороги. А если именно людей так безжалостно, по-варварски сгоняют с веками обжитых мест, то кто же тогда будет ездить по этим новым дорогам. Куда они приведут — в бескрайнюю и мертвую, не обжитую или брошенную равнину. Ведь те, кто получили компенсацию за порушенные дома, почти все из деревни уехали, оставили землю своих предков.

Вообще, у меня складывается такое впечатление, что тело исконной России сознательно, без всяких войн и национальных конфликтов, без политического шума и социальных потрясений начинают разрывать на части и готовить для враждебного заселения. И здесь нет никакого преувеличения. В самых центральных областях, на Волге уже во многие места просто невозможно добраться. Перестали работать переправы, ходить по реке «Метеоры», осуществлявшие сообщение между небольшими поселками и городами, прекратилось строительство мостов. В этих условиях также многие были вынуждены бросить обжитые места. И теперь зарастают березняком поля, рушатся выстроенные когда-то фермы, распадаются в прах покинутые дома. Но брошенная земля не может долго быть ничейной. Ведь потому наши предки освоили великие пространства, образовали империю, потому что строили на новых и вновь открытых землях поселения, начинали на этих землях жить, начинали их обрабатывать и, естественно, защищать. Только тогда обретенная и веками усвоенная между людьми и землей мистическая связь делала ее, землю, незыблемо принадлежащей какому-то народу.

Оскверненной же земля не может находиться долго. Она начинает отстаивать свои права. И потому на нее обязательно придут другие хозяева, которые землю вновь заселят, вернут ее к жизни. Таков извечный закон, существующий не по нашей воле. Этот закон дан свыше. Земля должна быть заселена, иначе ее не удержать. А мы теперь у себя в самом центре страны, буквально у ее сердца, все образуем и образуем страшные безжизненные пустоты, как раковые опухоли. И даже боимся подумать, предположить, к чему все это в итоге может привести.

Пока я и Заного, бродя вдоль порушенной деревенской улицы и по краю глубокого карьера, говорили обо всем этом, наш хозяин, не теряя времени даром, накрыл нехитрый обеденный стол, приготовил все необходимые снасти для рыбалки и нетерпеливо покликнул нас назад к дому. Мы не заставили себя долго ждать.

И вот опять дорога. На этот раз короткая. А на машине — и вовсе почти незаметная. Я и Виктор берем удочки, спиннинг, надувную лодку. Владимир закидывает на плечо широкий брезентовый ремень этюдника. Вместе дружно спускаемся к реке.

Прямо скажу — не велика река Пьяна. Но и не мала. Воды свои она несет с достоинством, напористо. И пусть они еще по-весеннему темны, мутны. Но и через них видно, как вьются под напором воды у берега коричневые плети прошлогодней осоки.

Я уйду один под высокий склон. Встаю со своими удочками между двух старых ветел. Здесь оказалось удобно стоять и забрасывать леску. Да и клевало, как потом оказалось, хорошо, размеренно. Правда, мелочь, но разве я приехал сюда ради добычи? Нет, конечно. Тогда ради чего?

Мой отец родом из соседнего Гагинского района, села Утка. Как-то, отвозя нас с сестрой на лето к бабушке, он показал рукой на переезжаемую нами по мосту реку и назвал ее странным, даже смешным, именем — Пьяна. С тех пор это название врезалось мне в память и вот живет в нем почти пятьдесят лет. Нет уже в живых отца. Да и в моей жизни много всего произошло, изменилось, открылось. Но непонятная, необъяснимая связь всегда существовала в моем сознании между отцом и этой рекой. Может быть, виной тому та далекая, незамутненная детская память. Или рассказы отца уже о своем детстве, о юности и молодости. Когда из далекой Сибири приезжал он в родные места и из районного центра, переходя по мосту Пьяну, шел к себе в село многие километры. Я стоял на берегу реки, которая знала, совсем юным, моего отца, и оттого сердце в груди то замирало, то сладостно начинало ныть. Я понимал, что и мое начало тоже где-то здесь, на этих берегах.

А свое игривое название река, видимо, получила из-за того, что русло свое с великим трудом пробивала по степным и равнинным землям юга Нижегородской области, невероятно петляя, образуя всевозможные заводи, старицы, почти параллельно своему руслу возвращаясь на многие десятки километров назад. В топонимическом словаре о реке написано так: «название получила за чрезвычайно извилистое русло, по которому она направляется то вперед, то вбок, то назад». Павел Иванович Мельников-Печерский в романе «На горах» так описывает реку Пьяну: «Шатается, ломается во все стороны, ровно хмельная баба, и, пройдя верст пятьсот закрутасами да изворотами, подбегает к своему истоку и чуть не возле него в Суру вливается». И действительно — верховье и низовье реки находятся друг от друга на расстоянии всего тридцати километров. Ну, не диво ли?

Впрочем, это все «историческая» наука, краеведения-изыскания да измышления. Мне же вспоминаются абсолютно реальные рассказы отца, как в военное детство всей большой семьей, глава которой, как и положено тогда быть русскому крестьянину, воевал на фронтах Великой Отечественной, выживали за счет того, что собирали в лесу да на лугах. Матушка-земля кормила, а не «сельскохозяйственное производство». Потому от этого производства, только чуть детишки подросли, разъехались они, разлетелись, будто птенцы из родительского гнезда, в разные стороны необъятной империи. И можно ли их за это осуждать? Был ли у них, моих теток и дядек другой путь, другой способ выжить, выучиться, создать свои полнокровные семьи, нарожать детей, чтобы продолжился во времени, в истории коренной русский род? Нет у меня простого и однозначного ответа на эти, задаваемые самому себе вопросы. Потому и не в праве тут кого-то судить.

Окончив после войны семилетку, и мой отец выпорхнул из родительского гнезда, ушел «в люди». Вернее, уехал в Сибирь, на строительство железной дороги Абакан-Тайшет. Оттуда ушел служить в Советскую Армию. Оказался на Сахалине. Демобилизовавшись, опять остался работать в Сибири. Заочно закончил институт. Нет, удивительное это все-

таки было поколение — настойчивое, целеустремленное, трудолюбивое, преданное своей стране. Конечно, несколько «задавленное» в идеологическом плане, но нравственно все-таки оставшееся чистым. Многовековые традиции православной морали в них оказались непоколебимыми. И тут нет преувеличения или моего желания подыграть сегодняшней моде на «патриотизм».

Я вспоминаю свои приезды с отцом к нему на родину. Дед мой еще с фронтовых лет был коммунистом. Отец вступил в партию во время службы в армии. Причем, к религии относился пренебрежительно — воспитан был в школе по этому идеологическому вопросу в самые воинствующие богоборческие годы. Но в уткинском доме, в красном углу стояли на божнице иконы, перед которыми всегда на ночь зажигалась лампадка. И никто — ни дедушка, ни отец и подумать не смели, чтобы ее загасить, а лики святых убрать. Это было свое, родное. Вот именно это разделение — поддержка общественной, отстраненной от личной, борьбы с «опиумом для народа» и оберегание подлинно своего, коренного — в поколении отца явно прослеживается, обнаруживается.

То же было, по рассказам Заного, и в семье Владимира. Ведь не выбросил же его отец собранные сыном иконы, пока он служил в армии, а сохранил, приберег, хотя и убрал долой от посторонних глаз. Да, наверняка, то же самое было и у Виктора Пурихова. Да и еще у множества и множества крестьянских детей. Что-то очень важное сохранили они в нас, чтобы мы остались и преданными сыновьями своей Родины, и продолжили традиции русской православной культуры, и не порушенными духовно вернулись в вечное лоно Матери нашей Русской Православной Церкви.

Несколько часов простоял я с удочкой на берегу Пьяны, таская из воды поблескивающих серебром плотвичек. Клев то утихал, то возобновлялся. Но меня это не слишком заботило. Добытческого азарта во мне особенно-то никогда и не жило. На берегу я все больше думал о своем — далеко от переживаний истинного рыбака. Потому, видимо, и удочки скрутил как-то разом, без сожаления, что прерываю, в общем-то, неплохой клев.

Забравшись на кручу, я выглядел несколько в стороне, ближе к пойменным лугам почти неподвижную фигуру Заного и направился к нему. Наш художник, в отличие от меня, работал увлеченно, даже азартно. К крышке этюдника был прикреплен лист грунтованного картона, который, пока я рыбачил под высоким берегом, превратился в сказочно красивый пейзаж с заходящим солнцем, лесными далями, высоким небом и, конечно же, с проносящей свои воды Пьяной.

Сколько же неизреченной, тонкой, одухотворенной красоты содержит в себе русская земля! Сколько в ней простора и воли. Ни на словах об этом не рассказать, ни передать в красках. Лишь самую ее малость улавливает писатель или художник. Еще меньшую малость им удастся перенести на бумагу или полотно. Но и это малое как дорого, как замечательно, как важно для нас. Какие вдруг неожиданные чувства, переживания рождает в наших душах.

Я остановился около Владимира. Понимал, что мешаю ему работать, но ничего поделаться с собой не мог — любопытство взяло верх.

Заного сделал несколько шагов назад, критически оглядывая свою работу и сравнивая ее с окружающим пейзажем. Затем потянулся и поморщился.

— Спина болит. Стоять приходится в напряжении. Да еще торопишься, пытаешься успеть за солнцем, боишься потерять освещение. Но главное, кажется, схватил. Сейчас, пока состояние не ушло, нужно еще поработать.

Я понимающе киваю и, чтобы не мешать, уйду вдоль берега искать Пурихова. Тот — не я. И пока дневной свет позволяет, он рыбалку ни за

что не бросит. Вот такой он цельный, целеустремленный человек. Не мне чета. Более того — живой укор моей созерцательной праздности.

Но искать нашего скульптора долго не пришлось. Он сам выплыл ко мне на своей надувной лодке и не без некоторой гордости показал в поднятой руке пойманного на блесну щуренка. Размер рыбы не то что меня впечатлил, но все же по сравнению с моими неказистыми плотвичками этот пятнистый хищник выглядел чуть ли не великаном.

Я искренне похвалил улов.

Пока вытаскивали лодку на берег, пока ее свернули и разобрали снасти, пока поднялись на угор и уложили вещи в машину, солнце совсем село, скрылось за вершинами ближнего леса. На землю опустились по-весеннему знобкие, волглые сумерки.

Заного, как мне показалось, с некоторым сожалением завершил работу. Он без суеты собрал этюдник, отнес его в машину и вернулся к нам. Втроем мы стояли на высоком берегу Пьяны, смотрели на потемневшую воду реки, на густо зазеленевшие в сумерках пойменные луга, на уже слабо различимые дальние поля, над которыми еще пробивалась из последних сил неширокая полоска тающего, исчезающего закатного света и тихо, восхищенно делились друг с другом переживаниями от увиденного. Чудо, такое привычное и, одновременно, такое новое каждый раз, свершалось у нас на глазах. И мы ощущали себя не просто его созерцателями, но и как-то деятельно причастными к происходящему. Ведь мы из такого далека — далёка приехали на эту, как нам казалось сейчас, таинственную и благодатную землю. Так чудилось нам в эти закатные минуты. Так искренне верилось, что та, другая, суетная да раздражительная городская жизнь осталась где-то далеко — далеко, за горами, за долами — как в доброй вековечной русской сказке.

Следующим утром первым, кто встретил нас на бархатистой зеленой лужайке у дома — был маленький, обрадовавшийся людям пушистый серенький котенок. И откуда он только взялся у нашего, далеко отстраненного от другого обжитого жилья, дома? Неужто учуял запах пойманной нами вчера рыбы? Хоть улов, прямо скажем, был невелик. Но ведь все-таки был.

Котенок выполз из-под двери летней мастерской Пурихова и громко, требовательно замыкал.

— Вот что делает со всем живым искусство. Даже эта кроха в первую очередь пожелала посмотреть скульптуры Виктора, — съязвил Владимир Заного.

— Которых там давно нет, — без тени обиды откликнулся Пурихов и, подойдя к сарайчику, щелясто сколоченному из потемневших, отслуживших свой век досок, вынул из пробоев не закрывающийся замок и, раскрыв заскрипевшие ржавыми петлями двери, пригласил, — заходите, покажу место моих трудов праведных.

— Место высоких дум и отдохновения, — уже я отреагировал на приглашение хозяина, — то самое, где скульптора так часто посещала его муза.

— Да, было и такое. Не скрою.

Мы вошли. Тлена и запустения в мастерской не ощущалось. Даже рабочий круг стоял посередине, словно дожидаясь, когда вновь на него нагрузят глину и начнут из нее творить. Но по тому, как беспорядочно на полках были разбросаны инструменты, как фрагменты макетов скульптур оказались безжалостно брошенными у досчатой перегородки, чувствовалось, что хозяин давненько не посещал своего рабочего места.

— Раньше много здесь трудился. Бывало, что все лето напролет не выходил из мастерской. Но настали другие времена. Зимами непрошенные гости начали рушить все, что оставалось с лета в мастерской, что они не могли унести. Потому я и перестал здесь что-то делать. Уже душа не лежит.

Выйдя из осиротевшей мастерской, «остывшей» без накала хозяйских трудов, мы все-таки не забыли о непрошеном госте (да он и сам этого бы не допустил) и накормили котенка вволю. Накормили с запасом — вдрут он и вправду отбившийся от родного дома, а мы сейчас уедем и уже до самого вечера назад не возвратимся. Потому что маршрут движения на сегодня уже намечен и согласован. И, в первую очередь, мы уедем смотреть памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне, который выполнил для соседнего села Виктор Пурихов.. Памятник установлен совсем недавно, и скульптор хотел нам его показать, услышать какие-то отзывы о своей работе.

Село встретило нас тишиной и безлюдьем. На центральной площади высилась композиция из нескольких фигур, отлитая в бетоне и покрашенная бронзовой краской. А у подножия памятника на мраморных плитах высечены фамилии павших. Имена, имена, имена — убитых на жестокой войне солдат.

Где и каких только памятников я ни повидал за свою жизнь, обращенных к этой страшной войне, невероятно опустошившей русскую землю. Но самое страшное, от чего сердце начинает сжиматься и ныть дальней, потусторонней болью, болью тоски и бессилия, так это от чтения вот этих скорбных, на вечный помин уготованных списков. И ведь о многих и многих даже неизвестно, где преданы земле их тела. Просто ушел человек на войну, ушел защищать свою землю да и лег в нее на веки вечные.

В одном из своих стихотворений, ставшем затем песней, народный артист России Михаил Иванович Ножкин написал такие строчки: «Это надо же рассудок потерять, / Чтоб солдатским телом землю удобрять». Так вот — когда я вижу подобные списки, высеченные в мраморе, граните, отлитые в металле, в бетоне или вырезанные в дереве на дощатой пирамидке с жестяной поржавевшей звездой наверху в какой-нибудь дальней, Богом и властями забытой деревеньке, эти страшные поэтические строки невольно оживают в моей памяти. И тогда не по воле своей, будто это является из каких-то глубин, заключенных во мне самом, в моей душе, я начинаю осознавать весь ужас произошедшего. Я пропитываюсь этим ужасом и понимаю, что только человек, только по своей воле всего этого сам по себе сотворить не может. Присутствует во всем этом и иная сила. И самое страшное — эта иная сила имеет над нами большую, почти абсолютную власть, которую использует с определенной закономерностью, осознание которой людям неподвластно.

Следующая цель нашей поездки — село Борнуково и пещера, находящаяся в ее окрестностях. Не миновала наша дорога и родного дома Виктора Ивановича. Маленькая, как мне показалось, избушка стояла, может быть, в самом живописном уголке села — на берегу пруда. Проехали мы и мимо помещений, сейчас, конечно, заброшенных, с заколоченными окнами бывшей когда-то знаменитой Борнуковской камнерезной фабрики. Одних только белых слоников, что украшали, выставившись в ряд от мала до велика, этажерки и диванные полочки городских обывателей, было понаделано тут многие десятки тысяч. А еще всякие статуэтки, светильники, письменные приборы. Один из таких приборов — большой, выточенный из белого камня, на плоскости которого меж двух чернильниц возлегает в осознании своего величия, как царя зверей, большой гривастый лев, и по сию пору хранится у меня в качестве сувенира.

Но вот съезжаем в пойму, останавливаемся на берегу Пьяны. По мосту на другой берег, к пещере проехать невозможно. Поток еще не совсем потерял весеннюю силу. Невысокий мосток он залил. И мы, чтобы в очередной раз попусту не испытывать судьбу, решаем перейти реку по этому мостку, как вброд, оставив машину на этом берегу.

Правый берег, в отличие от левого, оказался лесистым. Потому, отыскивая дорогу к пещере, мы даже немного поплутали. В какой-то миг это наше блуждание по высокому склону напомнило мне мои хождения

по Уральским горам — таким же лесистым, с высокими пологими склонами и редкими обрывистыми кручами. Даже растительность была такой же, и те же покинутые, заросшие травой дороги, и те же вершины, высота которых за деревьями не угадывалась, отчего казалось, что она где-то далеко-далеко, под самыми облаками. И еще — какой-то особенный волглый запах, вкус воздуха. Видимо, этот вкус, в первую очередь, и напомнил мне Урал-батюшку, разбудил таившиеся глубоко в памяти испытанные когда-то чувства и ощущения, переживания.

К пещере, или, вернее, к склону, в глубине которого она когда-то была (а может, и сейчас хоронится) мы все-таки вышли. Теперь в этом месте зиял глубокий карьер, напоминающий о производимой когда-то в этом месте добыче поделочного камня. Своды пещеры по нерадивости были обрушены мощным взрывом. И теперь никто не может ответить на вопрос — сохранилась ли она вообще, как удивительный, нерукотворный памятник природы, или безвозвратно утрачена, погублена, уничтожена.

С большой высоты, опять же напоминающей горную, мы озирали окрестности. Пурихов рассказывал, вспоминая детские годы, как мальчишкой лазал по этим склонам, ловил рыбу в извивающейся в долине Пьяне, смело катался на санках с пологих уторов. Но, в первую очередь, конечно, о том, как, не осознавая всей опасности, а это только в детстве и происходит, он мальчишкой лазал глубоко в пещеру, в потаенные ее недра.

Заного свое восхищение от увиденного, открывшегося ему уже привычно для нас выражал ахами и восклицаниями. Он, вообще, человек восторженный, душой откликающийся на все истинно прекрасное. А природное — это всегда и истинное, и прекрасное. Потому Владимир традиционно много пишет пейзажей, натюрмортов.

Я же от созерцания увиденного все больше погружался будто бы в иную реальность. Здесь, сейчас это было несколько противоестественно, но ничего поделать с собой я не мог. И потому завертелись в моем сознании образы виденного ранее во многих местах — и на территории бывшего Советского Союза, и в других странах. Но по всему выходило — этот природный пейзаж — один из самых дорогих и замечательных для сердца.

Наверное, мы с Виктором были бы не прочь еще постоять на этом крутояре, полюбоваться окрестностями. Но Владимира неудержимо потянуло к оставленному в машине этюднику. Сопротивляться чему-либо, если этого захотел Заного, практически невозможно. Чужих аргументов он не слышит, доводов не воспринимает. Потому мы сразу сдаемся и соглашаемся на спуск. Единственное, что еще позволяем себе — это выбрать, каждый по своему вкусу, в качестве сувенира по красному с белыми, слюдяно поблескивающими прожилками камешку. После этого отправляемся в обратный путь.

По дороге, когда уже подходили к реке, Пурихов показал рукой на склон другой горы.

— Помните скульптуру «Христос благословляющий» у меня в мастерской? Вот на этой горе я бы хотел ее поставить. Бесплатно, в виде дара землякам. Только не знаю — получится ли. И еще — не осквернили бы.

Скульптура, действительно, хороша. (О ней уже упоминалось в этих заметках.) И на этом месте, среди живого природного ландшафта она выглядела бы великолепно, производя потрясающий зрительный и духовный эффект. Но столь же достойно, я думаю, это произведение украсило бы и помещение нашего епархиального управления или холл Нижегородской семинарии. Можно было бы установить скульптуру и у любого из нижегородских храмов. Скульптор готов на общее благо пожертвовать свою работу, в которую вложил немало труда, сил, таланта, наконец, финансовых средств. Но готово ли наше сегодняшнее общество принять этот бескорыстный дар? Ой, не простая это тема. И хотелось бы мне ее избежать в этом очерке, да, видно, никак не получится. К тому же, пройдя к

машине и удобно усевшись в нее, мы смогли проехать всего ничего, как вновь остановились, на этот раз прочно засев в одном из пойменных болотцев, предательски скрытом прошлогодней травой. Брошенные под колеса «Нивы» камни и палки ничуть не помогли. И тогда Виктор, а что еще оставалось, отправился в село за трактором. Наш художник достал этюдник и тут же, чтобы зря и минуты не терять, принялся за работу. Я же остался сам с собой, наедине со своими размышлениями и сомнениями.

Незадолго, прежде чем отправиться в эту поездку, прошелся я по церковным лавкам наших нижегородских храмов. Обошел несколько новых, удобных, вновь выстроенных епархиальных магазинов. И знаете, какое самое устойчивое впечатление у меня сложилось от их посещения? Что православные люди в историческом, культурном, эстетическом, философском, литературном, художественном планах самые необразованные и духовно не требовательные. А как еще можно объяснить ту крайнюю скудость книжного ассортимента, что выставлен сейчас на прилавках? Немного брошюр с акафистами, одна-две книги проповедей, несколько самых примитивных изданий житийной литературы. Отдельно за стеклом — несколько подарочных, богато изданных книг. И все... И после этого мне кто-то возьмется доказывать, что Православие имеет свою многовековую историю и культуру? Так где же все это? Куда-то скрыто, запрятано от нас?

Не буду лукавить. Я сознательно сгустил краски. Конечно, культура Православия — это великий континент в океане человеческой цивилизации. И любому сомневающемуся я первый это докажу. Но тогда почему у нас сейчас этой культуре так мало уделяется внимания? Насытились ею в первые, посткоммунистические годы? Да возможно ли это? Конечно — нет. Культура — это та духовная пища, что необходима каждому человеку на протяжении всей его жизни. Она поддерживает, укрепляет, возвышает его в постижении высшего смысла существования. И литература — одна из главных составляющих нашей православной культуры. Она имеет и богатейшие традиции, и великие достижения.

Я помню, какое литературное пиршество просто обрушилось на нас с начала 90-х годов прошлого века. Художественные и публицистические книги, книги по философии и истории Церкви, общеисторическая и святоотеческая литература. А еще поэзия, произведения для детей, православная периодика. Книжные полки магазина Братства святого Александра Невского тогда просто ломились от новинок. И чего только читателям не предлагалось — собрания сочинений святителя Игнатия Брянчанинова, русского философа Ивана Александровича Ильина, жития многих Оптинских старцев, а также старцев Соловецких, Валаамских, Афонских... Тома поучительных писем старцев к монашествующим и мирянам — неисчерпаемый клад русско-духовного опыта. Тут же были представлены и современные писатели — от книг А.И. Осипова до полемических брошюр дьякона Андрея Кураева. Да разве все великое многообразие православной литературы возможно перечислить?!

Тогда же была собрана великолепная братская библиотека, услугами которой я с великим удовольствием пользовался. И каждый раз, уезжая в командировку, я набирал в ней стопки совершенно необходимых для себя книг, которые все прочитывал. Именно тогда открылся для меня другой мир, во многом изменивший мою жизнь, мою судьбу.

Но вот я представляю себя того в сегодняшней ситуации. Прихожу в удобные, светлые магазины и вижу в них унылые полки с какими-то «литературными крохами». Про бывшую библиотеку Братства тоже ничего не слышно — как она работает? И скажите, пожалуйста, где мне набираться ума-разума?

Знаю, несогласные могут сказать: «Да сейчас по телевидению, радио столько православных передач!» Что ж, соглашусь. Только далеко не все меня в этих передачах устраивает. Безусловно, есть удачные проекты.

Но когда на местном телеканале безбородые попики, развалившись в кресле перед телекамерой, главным образом изображающие из себя некую новомодную телезвезду, начинают меня безапелляционно поучать, как мне стоит жить и верить, так уверяю, что кроме досады, а то и раздражения (думаю, что далеко не только у меня), эта, так называемая, проповедь ничего иного не вызывает.

Опять готов услышать упрек со стороны, что своими нелестными замечаниями я наношу вред своей Церкви. Да нет же. Я, наоборот, желаю ей добра. А раз так, то должен прямо сказать о том, что меня беспокоит в сегодняшнем положении дел с представлением православной культуры на общенижегородском, культурном пространстве. Потому что я с глубоким огорчением наблюдаю, как епархиальные власти все более и более отстраняются от вопросов культуры. Конечно, такие замечательные православные художники как Владимир Заного и Виктор Тырданов продолжают участвовать своими произведениями в художественных выставках всех уровней, много публикуют репродукции своих работ, тем самым утверждая свет Православия в живописи и иконописи. Но чувствуют ли они хоть какую-то поддержку в своих трудах от епархиальных структур? Или их труд — это только их личное дело? А яркое публицистическое слово писателя Владимира Цветкова? Оно тоже так и останется невостребованным на нижегородской земле? Примеры я еще мог бы продолжать и продолжать. В чем тут причина — мне трудно ответить. Может быть, в отсутствии инициативы, идей, делателей? Ведь вот что касается строительства и реставрации храмов, так тут результаты просто поразительные, замечательные, в самом высоком смысле впечатляющие. Наверное, потому, что здесь задействованы знания и труд профессионалов. А почему многие думают, что вопросами культуры могут заниматься все, кому не лень? Разве здесь нужны меньшая подготовка, заинтересованность, профессионализм? Конечно, нет.

Когда-то нам, каждому в свое время, великий свет Православной веры был открыт. Этот свет многим озарил их дальнейший путь. С ним они живут, в него верят. Но если бы разрозненные усилия многих соединить воедино, уверен, результат не заставил бы себя долго ждать. Сколько лет я об этом мечтаю, сколько призываю к братскому объединению. Но результата почти никакого. Может быть, это и невозможно? И наша сегодняшняя совместная поездка — удивительная случайность, а не желание братского единения?

Приехавший трактор с задачей по освобождению нашей машины из болотного плена справился до обидного легко и просто. И, тем не менее, от пережитых неудобств и волнений хозяин наш поскутнел и погрузтнел. К дому ехали молча, словно весь запас эмоций и впечатлений на сегодняшний день оказался израсходованным, иссякшим. Но за приготовлением обеда, пока неутомный Заного, опять устроившись с этюдником на этот раз прямо на пуриховском огороде, был увлечен работой, мы с Виктором вновь в своих разговорах вернулись к впечатлениям и переживаниям последних дней. В итоге пришли к выводу, что ничего понапрасну в нашей жизни не происходит. Прямо скажем — не ахти какое открытие. Но и оно воодушевило. Да так, что мы и Заного попытались оттащить от работы. Но это оказалось делом невыполнимым. До заката оставалось еще несколько часов, и тратить их на разговоры с нами в представлении Владимира было крайне неразумным и расточительным.

Но все имеет свое логическое завершение. Подошло к концу и наше путешествие. И даже нашему художнику пришлось с этим смириться — сложить этюдник, собрать в рюкзак вещи.

Возвращаясь назад, в город, мы везли в своих сердцах искорки грусти. Я убежден — никто из нас не смог бы объяснить, отчего они вдруг появились, что послужило поводом для этого. Наверное, дело все в той же непонятной и неизживной в нас русской ностальгии, чувства родной

и милой для нас Родины, каждый уголок которой, еще до появления нас на этом свете, уже был уготован для поселения в наши души.

Мы ехали все по той же дороге, но только в обратном направлении. Занога все так же восторженно и неустанно продолжал восхищаться открывающимися пейзажами, игрой света на холмах и зазеленевших рощах. И ведь действительно, закат на удивление преобразил уже виденное нами ранее. Свет и тени создали неповторимый колорит, игру цвета, которые позволяли вдруг увидеть облитую пурпурно-красным рощу на взгорье, и одновременно таинственно размытые, темные очертания курстарника у подножия дальнего холма. Все это жило в одном времени, но существовало будто бы в разных мирах, в разных измерениях.

Владимир Занога расстраивался, что все это крайне сложно перенести на холст, написать красками. Удастся освоить в этюде лишь самую малую часть увиденного и перечувствованного.

Виктор Пурихов был молчалив и сосредоточен. Мне показалось, что к охам и ахам Заноги он относится по-крестьянски сдержанно и даже вроде бы снисходительно.

До того, как солнце совсем скрылось за горизонт, мы еще успели заехать в село Григорово, на родину огнепального Аввакума. Полюбовались замечательным памятником, который поставил протопопу скульптор Вячеслав Клыков.

Памятник, который сам по себе хорош, воздвигнут на краю глубокого оврага и оттого словно парит над местностью, взирая на далекие поля и перелески, на безбрежные просторы православной Руси. Мы зачарованно обошли вокруг него несколько раз. И знать я тогда не знал, что очень скоро познакомлюсь с Вячеславом Михайловичем, подарю ему номера «Вертикали» и напомним об этом памятнике. А летом 2006 года скульптора не стало. Тогда я написал и опубликовал в нашем журнале прощальное слово о русском гении. Думаю, уместно привести его в этом очерке. Еще раз почтить память скульптора и патриота.

Не стало Вячеслава Михайловича Клыкова. Кажется, совсем ничего не предвещало беды. Мы привыкли его видеть высоким, подтянутым, энергичным, занятым множеством дел. Казалось, его идеям, замыслам, его подвижничеству в создании и установлении памятников великим деятелям русской культуры, русской истории, русской государственности — писателям, святым, полководцам, воинам, монархам, поэтам — не будет конца. И вот скорбная весть больно отозвалась в наших сердцах. Мы потеряли не одного из солдат патриотического фронта. Мы потеряли Маршала, которому в образовавшейся пустоте, в образовавшейся бреши далеко не сразу найдется равнозначная замена. Замена, достойная ему по уровню бесстрашия, бескомпромиссности, убежденности в правоте русского дела.

Мы познакомились с Вячеславом Михайловичем на Белгородской земле 23 июня 2004 года, во время проведения третьего Белгородского международного экономического форума, проходившего под эгидой Собора славянских народов. Днем раньше я видел его величественный памятник князю Владимиру в самом Белгороде. С моих впечатлений от увиденного и начался наш разговор во время знакомства. Я подарил Вячеславу Михайловичу номер журнала «Вертикаль» и немного рассказал о нашем издании. Затем небольшой компанией мы сидели за столиком под соснами, неторопливо пили холодное пиво, разговаривали. Я напомнил скульптору, что на Нижегородчине тоже есть памятники, им поставленные — Серафиму Саровскому и огнепальному протопопу Аввакуму.

— Да, памятник Аввакуму хорошо стоит, на высоком месте у склона холма, — довольно заулыбался Клыков.

Прежде, чем нам разойтись, Вячеслав Михайлович попросил бывшего с ним фотографа:

— Ты давай, сфотографируй меня с ребятами.

Тот сделал несколько снимков. Наверное, и теперь они где-то существуют.

На следующий же день я пережил истинное потрясение, побывав на Прохоровском поле, поле невиданного в истории человечества танкового сражения, и увидел там другое творение скульптора — стеллу-звонницу.

Как же надо любить свою землю, какое преклонение испытывать в своем сердце перед подвигом отцов и дедов, чтобы одновременно так его воспеть и такой реквием ему сотворить из камня и бетона, над которыми разносится скорбное звучание поминального колокола!

А последний раз я повидал Вячеслава Михайловича в городе Запорожье, во время открытия на берегу Днепра памятника великому князю киевскому Святославу Храброму. Это была новая, но не последняя работа скульптора. Тогда, во время торжественной церемонии, Клыков произнес яркую и эмоциональную речь:

— Братья и сестры! Я поздравляю вас с великим праздником, славным днем города казачьей славы. Сегодня исторический день в Запорожье. Впервые на запорожской земле, спустя тысячелетие, мы открываем памятник нашему великому князю киевскому Святославу Храброму. Этим самым мы отмечаем победу, одержанную им над Хазарским каганатом, над этим паразитическим государством — центром мировой работорговли. Таким образом, Святослав сохранил для будущих наших поколений, по словам Василия Ключевского, физическое тело России. А ныне мы можем добавить — не только сохранил, но и дал ему свободное дыхание, освободил от этой нечисти все славянские племена и территории, тем самым, подготовив Русь к принятию христианства, которое успешно завершил его сын Владимир. Вдумайтесь только, братья и сестры, в эту родовую преемственность — великая равноапостольная княгиня Ольга, ее сын Святослав и сын Святослава Владимир, который крестил Русь в образ и подобие Святой Троицы. Мы за тысячелетия выкристаллизовались в тот народ, который по своей природе воплощает триединство — великороссы, белоруссы, малороссы. Этот закон, эту выстраданную нами природу мы должны беречь и свято сохранять. Если мы отойдем от этого закона, мы будем поочередно рассеяны и стерты с лица земли. Доколе, братья и сестры, будет продолжаться наше размежевание?! Чего не хватает нам для того, чтобы соединить свои усилия, обратиться лицом к тем законам, которые заповедовали нам наши великие предки, к законам, которые выстрадали великий род наш славянский?! Сохраним же в сердцах наших образ и подобие Святой Троицы! Не дадим, следуя заветам старцев, разять украинцев, белорусов, русских! Если мы отойдем друг от друга, мы долго не продержимся. Пусть же скульптурное изображение Великого князя Святослава дает нам пример мужества, пример воли, пример смелости и пример горячей любви для сохранения нашего Отечества с Богом в душе и сердце.

Теперь эти слова замечательного русского скульптора звучат для нас как духовное завещание потомкам.

Затем в этот день на Хортице Клыкова всячески чествовали казаки. Подарили ему казачий костюм, поднимали в его честь тосты. И Вячеслав Михайлович вроде бы был весел, приветлив. Мы сидели за столом рядом, и потому, когда спустя какое-то время мне передали фотографии с этого праздника, я удивился грустному и сосредоточенному выражению лица скульптора на всех снимках. Будто тяжелая дума давила его пылкое, страдающее за отчизну казачье сердце. Давила и давила. Кто-то теперь скажет, — как много он еще не успел сделать. На что мы ответим, — какое счастье, что у России был такой сын, у нас такой скульптор, оставивший для Родины, для потомков столько замечательных своих творений.

Совсем поздно мы въехали в Нижний Новгород. Город встретил нас шумом потока машин и цепочками фонарей вдоль трасс и тротуаров,

которые своим желтковым светом отгородили от наших взоров чистое и звездно-нарядное весеннее небо.

Не доезжая площади Советской, мы расстались.

Еще, правда, в некоторой растерянности постояли около машины, негромко урчащей не выключенным мотором, попереминались с ноги на ногу. Всем троим, как-то не очень верилось, что это все — задуманное когда-то нами троими за «творческим» и не совсем трезвым столом, теперь выполнилось. Впереди ждало нас уже что-то совсем иное, новое, нами самими еще и не придуманное. Но ведь кто-то когда-то впервые произнес эту фразу — все имеет свое начало и свой конец. Вот и пришло время нам расставаться, а мы не очень понимаем, как это сделать. Что-то со всеми нами произошло за эти дни. Конечно, впереди нас ждало еще много встреч друг с другом. Они будут разными — «на бегу», на торжествах, в мастерских. Виктор Пурихов создаст интересный памятник основателю нашего города святому благоверному великому князю Георгию Всеволодовичу, который установят в Нижегородском кремле. Владимир Заного проведет множество персональных выставок, напишет новые картины, в которых все больше и больше будет преобладать любовь к жизни, мягкость и лиричность в ее восприятии. Я тоже что-то напишу, издам новые книги, за которые даже получу литературные премии. Ничего этого, прощаясь в тот поздний час, мы, конечно, не знали. Только когда пожимали друг другу руки, кто-то из нас троих сказал — что ж, теперь будем просто жить. Вот и живем. И помня прошлое, и мечтая о будущем, и согреваясь памятью в ненастные житейские дни.

Нижний Новгород, январь-март 2008 г.

ЯБЛОКИ РУССКОГО САДА

За окном моего деревенского дома стоят по-осеннему отяжелевшие, увешанные сочными и красивыми плодами яблони. Это тем более удивительно, что прошедшая зима выдалась малоснежной и очень морозной, жестоко морозной. И я с декабря по февраль, как и многие знакомые мне люди, гадал — вымерзнут деревья, много лет назад мной самим посаженные у крепкого пятистенного бревенчатого дома, или погибнут под натиском безжалостной стихии.

Вообще-то, сразу за Волгой берет свое начало бескрайняя матушка Тайга. И тепло сюда, хоть и разница с доволжскими землями всего-то в двадцать-тридцать километров, приходит на две недели позже. Потому, когда высаживал я саженцы яблонь у себя под большими, для вольного взгляда окнами специально выстроенной для созерцания веранды, доброхоты меня всячески отговаривали. Называли эту затею пустой и даже посмеивались: «Ты же видишь, что ни у одного дома в нашей деревне яблони не растут. А ты что же, думаешь всех умнее?».

Да ничего я не думал. Просто хотел, чтобы у моего дома росли яблони, и потому их сожал. И еще, в деревне действительно ни у одного дома яблонь посажено не было. Но прежний хозяин моего дома наперекор всему взял и посадил два дерева — антоновку и осеннюю полосатую. И деревья прижились, выстояли. И по сей день дают отменный урожай. Потому иногда и приходится задуматься, что лучше — поступать, как принято, «как все» или так, как подсказывает тебе твое сердце.

Конечно, и на собственном пути будут потери, неудачи, ошибки. Будут разные и не всегда приятные обстоятельства. Два дерева, уже одарившие меня замечательно невероятно сочными, кисло-сладкими плодами в одну из недавних зим погибли, опаленные злым холодом. Но это моя потеря, и я не уверен, что не будь ее, моя жизнь от этого стала бы

счастливец. Иногда и потери вместе с горечью вселяют в сердце еще что-то дорогое, заполняют его благодарной памятью за то, что эта потеря стала возможной. Ведь до нее была иная наполненность жизни, которую мы по достоинству и можем оценить только со случившейся, произошедшей утратой.

Неуловимо и быстро спускаются в сад за окном влажные, туманящиеся сумерки. Деревья теряют свои очертания, пропадает густо-зеленая пышность приготовившейся к увяданию листвы. И лишь яблоки яркими желтыми фонариками продолжают мерцать непостижимым, неведомо откуда берущимся светом.

Вот и мне пора на своей веранде включать свет. Знаю, что стоит только мне это сделать, как тотчас вокруг многое изменится. А мне так не хочется этих перемен. Но что делать. Время! Слишком многое в жизни оно нам диктует. И, увы, нам приходится ему подчиняться. Но и это подчинение всегда ли ведет к худшему?

Я встаю с кресла, взяв в руки с колен журнал «Слово», где опубликован задушевно пронзительный и философско-мудрый рассказ моего старшего товарища Олега Николаевича Шестинского, и осторожно щелкаю рычажок выключателя.

Свет заливает большую комнату, стеллаж, заставленный вазочками, кувшинчиками и прочими баночками, чайничками, солоночками – трофеями бесконечной хозяйственной деятельности моей неугомонной супруги. Живые же яблоки за окном, только что так услаждавшие мой взор истинной красотой, мгновенно гаснут, теряются во мраке. Потому мне и не хочется здесь оставаться, и я ухожу к себе, поднимаюсь на второй этаж, туда, где стеллажи с книгами, папки с рукописями, чтобы еще раз перечитать исповедальное «Серафимовское кладбище» дорогого мне человека.

* * *

Как я должен благодарить судьбу за то, что неведомыми для нас путями она соединяет разрозненные человеческие судьбы и сердца, жаждущие понимания и братской любви!? Неявная, где-то глубоко таящаяся, но именно эта жажда толкнула вдруг незнакомых людей, разъединенных десятилетиями возраста к общению и бережному отношению друг к другу. Другого объяснения нашему знакомству я найти не могу. А раз так – то все это промыслительное. Хотя то, о чем я сказал выше, имеет и еще одну, безусловно главную составляющую – творческую.

К тому моменту, когда Николай Переяслов в своем кабинете в здании Союза писателей России передал для «Вертикали» рукописи рассказов Олега Николаевича, при этом попытавшись объяснить кто он такой, имя поэта Шестинского было мне прекрасно известно. Еще в тех далеких семидесятых годах прошлого века – со времени моей литературной молодости, я читал его стихи. Но рассказы! Эта грань писательского таланта Олега Шестинского как-то прошла совсем мимо моего, в общем-то, заинтересованного читательского внимания.

Хотя, для начала необходимо поведать, как я вообще оказался в здании Союза на Комсомольском проспекте, 13. Виной всему все тот же журнал «Вертикаль». После двух лет издания мне захотелось услышать отзыв об альманахе (тогда журнал был еще альманахом) со стороны. Знающие люди посоветовали обратиться к Переяслову. Я позвонил Николаю из Нижнего, и он с полным радушием откликнулся на мою просьбу. Книжки «Вертикали» я ему выслал, а потом и сам приехал в Москву для личного знакомства. Тогда же перед отъездом и получил рукописи Шестинского для своего издания. Прочитал их, не откладывая, сразу, еще в поезде на обратном пути в Нижний. И тут же в уме составил ответное письмо автору, явно провоцируя его на дальнейшую переписку. Зачем? Да потому, что в рассказах мировоззрение Шестинского, в безоглядной открытости – я в какой-то миг ощутил полную гармонию с соб-

ственными взглядами и жизненными оценками. Рассказы «Мать моей матери», «Когда я думаю о Ксении блаженной с кладбища Смоленского», «Апокриф об Иисусовом цветке» были написаны на совершенно безобразующей ноте внутренней откровенности, стремящейся к исповедальности (а то и переходящей в нее). Глубокий жизненный опыт естественно и гармонично сочетался в них с непосредственной (почти что с юношеской) восприимчивостью окружающего мира, небезразличием к нему. И те глубокие экскурсы в историю (даже в мифологию), что совершал в своих рассказах автор, не закрывали для меня сегодняшнего дня. Из сегодняшнего времени я сопереживал и переживал вместе с теми (и было это для меня совершенно естественно, органично, будто все происходящее совершалось сейчас, заставляя меня становиться соучастником событий), кто был за десятилетия и столетия до меня.

Что же мне позволило все это пережить? Что вергло меня в стихию авторского чувствования, авторского осмысления? Вера! Даже письменное обращение автора к еще совершенно незнакомому журналу было наполнено этим чувством и заканчивалось такими словами: «Обнимаю вас, братья!..».

Искренняя и глубокая вера, пронизывающая мировоззрение много повидавшего и пережившего творца слова. Русская Православная вера, дающая возможность ощутить свое пребывание на земле, как нечто надвременное, вечное, связанное не только с давно ушедшими поколениями, но и идущими после нас.

Но, кроме этого, были у прочитанных мною произведений и другие, чисто художественные, творческие достоинства. Рассказы были написаны особым художественным языком, образным и несущим свой, непохожий ни на чей другой ритм, свой темперамент, образный колорит и в то же время определенную отстраненно-философскую сосредоточенность. Особенно рассказ «Мать моей матери» – о бабушке, блокадном ленинградском холоде и голоде, о детстве, о всем том страшном и непереносимом, что выпало на долю автора в те начальные годы его жизни. Но что значит – «непереносимом»? Ведь перенесли, выдюжили, выжили. И все это в условиях невероятных, несопоставимых с жизнью. Так за счет чего же?

«Священник с бескровным, выбеленным ликом ветхозаветного пророка окормлял паству. Он толстился фигурой, потому что под рясу напялили стеганный ватник, перевязался шерстяным поясом, тупоносо выставались из-под одежды валенки. Как-то он глухо выстонал с амвона в мороз, приледенивший все живое: «Отроки и старцы, наденьте шапки. Грех – на мне». Но никто не уберется от стужи ушанками, сжимали шапки в руках, словно готовились к жертвенности. Причастие разбавлялось теплой водой до того, что едва лишь отсвечивало розовостью. Пар из уст прихожан воскуривался, не тая, будто выдыхалась сама молитва. Нищих с протянутыми руками не обнаруживалось – все были нищими перед Богом.

На улице – мнилось – теплее, сырость и промозглость каменного чрева храма улетучивались на вольном, жгучем морозном воздухе. Бабушка, выйдя со мной из храма, непременно крестила меня, обласкивая уверенность: «Еще один шаг к жизни. Помни».

Вот все это, прочитанное и вроде бы даже пережитое мной самим, и позволило, в какой-то миг, обнадёживающе обрадоваться – в альманах пришел очень интересный и самобытный автор.

Я не ошибся. Когда рассказы были напечатаны, на них сразу обратили внимание читатели, критики. Но, главное, завязалась наша творчески-плодотворная дружба, позволившая мне прочитать многое, что вышло в последние годы из-под пера писателя. В том числе и пока еще неопубликованное, рукописное.

Но на мое личное письмо Олег Николаевич тогда ответил все-таки с некоторой осторожностью и даже недоверчивостью, что, впрочем, вполне объяснимо. Известный поэт, писатель, автор огромного количества публикаций и нескольких десятков книг отвечал на письмо совершенно

незнакомому как в творческом, так и в человеческом плане издателю неведомого провинциального журнала. Каким же еще мог тогда быть ответ?

Но, что называется, «шлюзы открылись», «искра пробежала» и переписка наша, творческое сотрудничество приобрели самый полный, с обоюдной приязненностью, характер. А примерно через год, осенью 2003 года, мы впервые познакомились воочию, встретились, и Олег Николаевич вновь поразил меня душевной открытостью и своей опережающей доброжелательностью. И что греха таить – большинство людей при близком знакомстве друг с другом почти всегда держат в уме мыслишку, мол, посмотрим, как ты будешь ко мне относиться, как себя поведешь, а уж, глядя на это, и я определяюсь. Шестинский же встретил меня, как доброго и близко знакомого ему человека.

Без усталы целый вечер проговорили мы тогда с Олегом Николаевичем, затрагивая самые разные темы – от политики до истории. Но все-таки центром, главной составляющей долгой нашей беседы была литература.

В завершение всего, уже поздно вечером, уложил меня Олег Николаевич спать в своем кабинете, в святая святых для писателя, где стены от пола до потолка заняты полками с книгами, а над письменным столом висит родовая бабушкина икона Иверской Божией Матери, блокадная спасительница и путеводительница на протяжении долгой и щедро отмеренной Богом жизни.

* * *

За то время, что мы знакомы и творчески сотрудничаем с Олегом Николаевичем у себя в «Вертикали», мы много печатали его прозы, поэзии, переводов с болгарского. И всегда для журнала эти публикации были важны. Они давали изданию совершенно особый нравственный импульс. Но ведь кроме «Вертикали» в это же время писатель публикует в совершенно разных изданиях (газетах, журналах и альманахах) множество других произведений. Работоспособность Шестинского просто уникальна. За один год он создает такое количество произведений в поэзии, прозе, публицистике, эссеистике, мемуарных очерках, что не всякому литератору под силу написать и за всю прожитую жизнь. Конечно, далеко не все, может быть, даже малая часть, но все-таки кое-что и до меня из литературных новинок от Шестинского доходило. Отчего мое удивление и восхищение этим автором только возрастало. К тому же я попытался наверстать упущенное и некоторые прозаические книги Олега Николаевича прошлых лет взял для прочтения в городской библиотеке (Поэтические сборники, журналы с публикациями стихов у меня были и раньше, а многое так и осталось в домашней библиотеке до сих пор). Все узнанное я как-то для себя попытался объяснить, оценить. Но, не имея ни сил, ни возможности, а, главное, способности окинуть взглядом весь творческий путь, пройденный Олегом Шестинским, я взял на себя смелость попытаться порассуждать лишь над одним, но основополагающим для творчества последних лет аспектом литературной деятельности писателя. В своем кратком определении он (аспект) звучит примерно так – личность и Совет, страсть и Ответственность, ненависть и Сострадание. Иными словами – человек и Бог.

Как это зачастую и бывает, духовный путь художника, если творчество его находится в движении, в развитии, ярче всего виден в сравнении произведений, написанных в некотором временном отдалении с созданными сейчас, в сегодняшние сроки.

Одна из первых прозаических книг Олега Шестинского называлась «Голоса из блокады», и рассказывалось в ней все о той же тяжелейшей девятисотдневной блокаде, о которой мы уже говорили в этой заметке. Но какие, в первую очередь, мысли, ощущения овладевают автором в этой книге? Есть ли уже в ней ощущение той прозы, к написанию ко-

торой позднее придет писатель? Есть ли в ней (а книга писалась, как можно сделать вывод из времени ее публикации, в 70-80-е годы ушедшего века) ощущения Бога, ощущения, которые буквально пронизывают последующая проза Олега Шестинского? Я могу с полной ответственностью констатировать – безусловно! И появление в дальнейшем глубоко осознанных в вере, православии рассказов, очерков, статей этого автора – абсолютно логический исход из его «Голосов из блокады». Хотя в первой книге напрямую эта тема не поднимается и не разрабатывается. В ней еще нет осознания (внешнего, потому что внутренне автор живет совершенно в эстетике, философии, мироощущении глубоко, на генетическом уровне, доставшемся от предков, верующего человека) Бога, как «владыки живота», но не жизненные приоритеты, которыми руководствуется подавляющее большинство из тех многочисленных героев, чьи истории нашли отражение на страницах книги, говорят, что честь, совесть, любовь, сострадание для них превыше всех испытаний, лишений, страданий и разочарований. Ибо, поступившись ими, еще можно получить физическое насыщение, можно продлить дни своей физической жизни, но невозможно обмануть Совесть, избежать мучительного и тягостного, поселившегося в душе сознания греха. Поэтому, несмотря на все ужасы, страдания, смерти – эта книга о свете. Это гимн жизни! И, в первую очередь, жизни в духе. Примеров, подтверждающих мою мысль, мои ощущения, в каждом рассказе книги множество. Перечислять их нет возможности. Легче перечитать под таким взглядом заново «Голоса из блокады» от первой до последней страницы. Это совсем не означает, что писатель в своих документальных повествованиях однобок, неискренен. Вовсе нет. Вся ужасающая правда человеческой трагедии с предательством, жестокостью, воровством, спекуляцией, стремлением выжить, пусть даже за счет смерти другого человека, обман и попытка как-то устроиться, изловчиться, приспособиться, обогатиться на человеческом горе и отчаянии в эти страшные для города испытания – все это Шестинским представлено в публикуемых рассказах честно, без лукавства и приукрас. Говоря же о «свете», о «гимне жизни», я имею в виду приоритеты, расставленные писателем в своих произведениях. Поэтому, пусть нас хоть и возмущают Тусенька со своим Хозяином из рассказа «Прощание с книжным шкафом», Семен Семенович из рассказа «Съем Съемыч», Римма из рассказа «Жила-была Шура» и т.д., паразитирующие на человеческом горе, но не они, не эти люди, не эти персонажи – герои рассказов о блокаде Ленинграде, потому что всегда им противостоит как бы высшая человеческая совесть – Дарья Ивановна («Дарья Ивановна и Сидоров»), Маша («Смертью смерть поправ»), Аня («С такой пронзительной силой») да и подавляющее большинство остальных человеческих судеб, описанных в книге «Голоса из блокады».

Но неразрешимость для себя в полной мере такого вопроса, как мистическая составляющая мира, не оставляют Шестинского в покое, и в своей следующей прозаической книге «Пляшущая бутылка над Бермудским треугольником» (жанр которой автор определил как «фантастическая проза»), в рассказах «Звезда Чемоданова», «Полет над смертью», «Я полюбила князя Святополка...» и в рассказе, давшем название всей книге, он вновь пытается осмыслить неведомое, рассказать о непонятном, невероятном, но, однако, существующем. Не буду утверждать, что все в этой книге меня устраивает. Да и возможно ли это в принципе? В своем предисловии к «Пляшущей бутылке...» автор пишет: «Таинственные явления – это не досужие вымыслы. Они пронизывают нашу реальную жизнь. Только ограниченные, недалекие люди отмечают непознанное, как несуществующее». Отмечая далее, что «в моем сознании как бы накопилось ощущение тайны», он, тем не менее, заканчивает свое вступительное слово такой фразой: «Я не считаю возможным всуе касаться божественной силы. Но есть эта сила – опыт многовекового развития человечества тому свидетельство». И тут же пытается в рассказах этот опыт осмыслить, но

не столько через духовный труд, сколько через некие логические, все-таки более внешние, поверхностные построения в разработке темы. Но ничего страшного и предосудительного в этом нет. Практически все, за исключением гениев, проходят именно этот путь, прежде чем им откроется нечто высшее, станут неким образом понятны высшие законы движения и развития духа. Прежде, чем сама логика человеческой жизни в зависимости от логики его духовного роста, развития будет открываться писателю в чуть уловимых душой предчувствиях, движениях.

Поэтому и рассказы из этой книги, в первую очередь, интересны, как вехи духовного труда автора, как осмысление им приоритетов, главных направлений в своем творчестве. В конце концов – как выбор основополагающего пути.

И вот, буквально, рассыпь последующих рассказов Олега Шестинского появляется в журналах «Слово», «К единству!», «Смена», у нас в «Вертикали», попадают ко мне в рукописях. И хотя они совершенно разнятся по сюжетам, по своему мироощущению, они очень близки друг к другу. И потому воспринимаются как нечто единое, целостное и до беззащитности откровенное – как исповедь.

Эти рассказы в любом открытом для сострадания человеческом сердце вызовут потрясение своей чистотой, совестью. Есть в них что-то от первозданности, бесхитростности чувств. Вот, например, рассказ «Молитва радости», опубликованный в журнале «К единству!» (журнал Международного Фонда единства православных народов, № 4 2002 г.). Фабула его довольно проста и незатейлива. Сюжет тоже абсолютно, как говорится, «из нашей жизни». До боли в сердце любимый, родной человек – внучка уезжает с родителями на постоянное место жительства в Соединенные Штаты. Рвется в сердце деда некая нить (рвется с тоской, болью), связывающая его не только с внучкой, как с безмерно любимым человеком, но и с чем-то не сразу уловимым, объяснимым. Рвется с этим отъездом связь времен, происходит изменение бытия. Может быть, это еще не совсем понятно расстающимся, не осознается ими в полной мере. Но душа скорбит, душа мятется, внутренний мир деда терпит насилие над собой, потому что от него отрывают то, без чего ему в этом мире будет горько и одиноко. И все это, все ощущения и переживания передаются читателю исподволь. Более того, они даже вступают в полное противоречие с внешней канвой сюжета, ибо там-то причин для переживаний как раз никаких нет. Там как раз все очень хорошо, благополучно. И внучка, и родители начинают новую, устроенную и очень обеспеченную жизнь в полном достатке. Но от чего же тогда по прочтению «Молитвы радости» хочется плакать?

Правда, сквозь весь сюжет Олегом Шестинским проводится (и как ему, видимо, кажется – главное) тема патриотического, православного воспитания маленькой Насти. Для этого дед ей читает сказки Гаршина, пересказывает древнюю русскую историю, приобщает к православию, разучивает молитвы. Безусловно, все это важно. Но это внешняя канва повествования. Главное же происходит где-то в глубине рассказанной истории, не уловимо, не обозначено строчками и буквами. Происходит чудо творчества, чудо сотворения образа, чудо передачи нечто такого, что идет от сердца повествователя в сердце читателей. Рождается единение в духе и это счастье, это победа, ради этого и должно писать, творить.

Или вот другой рассказ, более «научный» или, может быть, выразиться так – более интеллектуальный «Молись!.. Мы еще сможем...». Он и внешне выстроен сложнее с «исторической нагрузкой», требующей от читателей определенной подготовленности. И очерковая направленность сюжета первоначально настраивает на большее подключение ума, интеллекта, нежели чувства. Но все это смущает только в самом начале чтения.

Внутри рассказа разбивка сюжета происходит как бы на две составляющие, где первая (историческая) часть, в которой повествуется о жиз-

ни и скитаниях «Божьего человека» Елизария в дивный Царь-град, который в конце своего земного срока принял постриг в именование Ефросина и основала скит, возле которого после его смерти «хлопотами богомольцев вознесся монастырь по имени Елизария».

В этом монастыре подвизался дивный старец Филофей, который в 1524 году писал: «...Все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя, согласно пророческим книгам, и это – российское царство: ибо два Рима пали, а Третий стоит, а Четвертому не бывать...». И еще много цитат приводит автор в этой исторической части рассказа, которая плавно перетекает во вторую сегодняшне-событийную, что в итоге придает действию и динамику движения, и в то же время связывает его с огромным историческим пространством, на фоне которого происходит осмысление героем своего пути, своего предназначения, своего жизненного места.

В этом плане «Молись!.. Мы еще сможем...» явно перекликается с опубликованной в «Вертикали» повестью Олега Шестинского «Жил-был во вселенной...».

Вообще, подобный прием не единожды используется писателем в своих произведениях, и ничего в этом плохого нет. Лишь бы достигалась главная цель задуманного. Только бы читатель не оставался равнодушным, холодным.

В этом рассказе вторая часть имеет историческое и философское продолжение первой. Потому что главная идея первой – донести до читателя основополагающую идею о том, что Россия есть Третий Рим, а Четвертому не бывать, пусть хоть и довольно конспективно изложена, но цели своей достигает полностью. Во всяком случае, для читателя подготовлена. Но вот действие переносится в наши дни. Герой рассказа (а теперь повествование идет уже от первого лица) приезжает во Псков и посещает развалины рухнувшей в 1989 г. колокольни Елизарьевского монастыря. Разговаривает с дедом о случившемся и по поводу всего прочего, происходящего как вокруг святыни, так и вообще в стране.

В итоге же вся эта сложная и напряженная духовная работа заставляет героя иначе взглянуть на действительность, на свою прожитую жизнь. Он переживает глубокое духовное очищение, катарсис. Ведь речь идет о судьбах Божиих. О спасении, о вере, о чуде для его любимой Родины – России.

Что же касается окончания рассказа, то здесь уже личное авторское переживание в продвижение этой идеи к читателю окрашивается в чрезвычайно эмоциональный и экспрессивный порыв. Для меня всегда в прозе было украшение, почти что главным достоинством – открытость чувств, обнаженность переживаний. Лишь бы только все было не нарочито, без фальши, без игры на публику (читателя).

Сам случай, который собственно и привел повествователя в эти края – с рухнувшей колокольней (и ведь символ же, да еще и какой – в России-то, на святой-то Руси), явно к этому располагал. Но Шестинский справился с соблазном, используя его очень тактично, без лишних спекуляций на эту тему. Потому что в рассказе главенствует не символ, не философские размышления и всевозможные построения, а ощущение и переживание героя – автора. И хотя думает он о вещах великих, вечных, но все это передается через его личностное восприятие, через его сердце. Подтверждением тому служит эпизод на кладбище. Этот, то ли произошедший, то ли причудившийся, а, вернее, действительно состоявшийся, но только в авторском сердце, разговор с игуменом Филофеем. Это кульминация повествования, и я, читатель, к ней подведен автором уже подготовленным, могущим воспринять те глобальные идеи, о которых пойдет разговор.

Я умышленно в этой части заметок сосредоточил свое внимание лишь на одном из аспектов творчества Олега Николаевича Шестинского. К тому же, выделил в нем, опять же, лишь одну из тем, правда, на мой

взгляд, самую важную. Совсем ничего не сказав об основном (и, может быть, главном) – поэтическом творчестве нашего автора, я тем самым подчеркиваю, что для этого необходим отдельный и более обстоятельный разговор. А ведь еще он не менее плодотворно и интересно поработал в публицистике. Есть обширная деятельность Шестинского как переводчика. Только за последние годы им переведены с болгарского поэтические сборники Валентина Качева, Нади Поповой, Дмитрия Христова, книга прозы «Когда Господь ходил по земле» Николы Радева. Большая поэма Симеона Арnaudова, болгарина, живущего в Париже, «Россия, будь благословенна!» печаталась у нас в «Вертикали». Все эти книги и публикации, переведенные на русский язык, ушли к читателям.

* * *

Но там, где возникает искренняя и открытая дружба, там же обязательно существует повод для искушения. Не минули эти испытания и наших взаимоотношений. Пишу об этом специально, чтобы досужий читатель не упрекнул меня в том, что рисую елейный образ поэта, беспорочный и бесконфликтный. Конечно же, такого в жизни не бывает, тем более в творческой. Но ведь достоинство человеческих отношений не в том, чтобы эти конфликты не возникали, а в том, как они преодолеваются, что после себя оставляют во взаимоотношениях. В наших взаимоотношениях, слава Богу, эти конфликты не оставили сколько-нибудь глубокого, видимого следа. И тут, я думаю, заслуга обоюдная. Не буду гадать, что помогло преодолеть обиду или отчужденность ко мне Олегу Николаевичу (ведь всегда невольно можно что-то сказать, не обратив на слова особого внимания, а собеседника они именно в этот момент способны больно, даже жестоко ранить), но что меня предохраняет от необдуманного поступка, я знаю точно. Это ясное, просветленное чувство охраняемости наших отношений возникло во мне в один из поздних вечеров в подмосковном Переделкино. Надо сказать, что, когда после нашего состоявшегося знакомства, я приезжал в столицу, то Шестинские, зимой обычно живущие в московской квартире, на несколько дней передавали в мое полное распоряжение свою переделкинскую дачу, где на втором этаже в кабинете Олега Николаевича был определен мне ночлег. Днем я занимался делами в столице, а вечером с Киевского вокзала уезжал в Переделкино. Там шел пешком (этой своей привычке я ни разу не изменил) до улицы Павленко. Свернув на нее от Дома творчества, продвигался тихой, затаившейся улицей, у которой с одной стороны вольным бело-голубым цветом разлилась заснеженное поле, а с другой – стояла дача, в которой некогда жил наш замечательный русский писатель Владимир Солоухин, а также дачи Константина Федина, в которой ныне обитает Андрей Вознесенский, Пастернака, превращенная в музей, отчего и окрестности вокруг нее – сад, дорожки – также тщательно, по музейному ухожены, очищены, убраны. Дача Шестинских расположена на участке, некогда принадлежавшему Александру Фадееву. Зимой этот участок улицы безлюден. Снег вокруг дач глубок и не потревожен. Могучие ели стоят, опущенные снегом.

Я проходил под ними к дому, который встречал меня добрым хозяйским теплом, разогревал чайник, наливал себе в бокал кофе и так подолгу сидел, приводя в порядок дневные впечатления, ощущения, мысли.

Но однажды порядок вещей был мною нарушен. После выпитого кофе, несмотря на позднее время (а оно приближалось к полуночи), я вновь оделся и вышел на улицу. Стояла теплая, лунная и светлая ночь с бесшумно падающим – крупными хлопьями – снегом. Я прошел к Дому творчества, обогнул его и направился в сторону дома-музея Корнея Чуковского. Дойдя до него, не остановился, а шел и шел все дальше и дальше. Зачем я предпринял эту ночную прогулку, тогда для меня было не совсем понятно. Что-то внутри меня, в моей душе требовало этих ночных действий. Смутное и необъяснимое нечто толкало меня.

Возвращаясь с этой затянувшейся ночной прогулки, я прошел через территорию Дома творчества. Тихие корпуса, темные окна, узкие дорожки с экономией сил очищенные от снега, старые, неподвижные, много чего выдавшие за свой долгий век деревья. Все это было не то – не затем я вышел из теплой и уютной дачи, стены в которой увешаны картинами и заставлены стеллажами с книгами. В этом своем ночном бдении я искал откровения, смутно забрезжившего в моем сознании, и никак не мог его ухватить.

Вернувшись в дом, я поднялся на второй этаж, включил свет. Стены кабинета поэта увешены рисунками, портретами, шаржами на него и его друзей, исполненными художниками. Здесь же фотографии, иконы, дорогие для памяти сувениры и большая библиотека болгарской литературы, почти сплошь состоящая из книг, подаренных Шестинскому авторами.

Мне вспомнилось, как, приобщая меня к болгарскому языку, Олег Николаевич читал стихи своих друзей на языке оригинала. В Болгарии Шестинского всегда любили, начиная с его учебы в Софийском университете. Он же в свою очередь на эту любовь ответил сполна не только преданной дружбой (вот на стене афиша с автографами друзей-болгар), но и огромной свершенной работой как переводчик, популяризатор болгарской культуры на русской земле.

Я подошел к окну. Вокруг на многое расстояние не было ни одной живой души, и только мое окно сквозь оголенные ветки деревьев светило маяком жизни в этом мире безмолвия. От того чувство одиночества, покинутости вдруг сжало в безжалостный кулак мое открытое для чего-то очень важного сердце. И в этот миг откуда-то из другого мира, из иной потусторонности, вдруг явилось мне слово – Любовь. В этом мире для Олега Шестинского все определяющим, являющимся для всего мерой, служит именно это чувство. Для чего в его домах горят окна, широко очищены дороги, раскинуты для встречного объятия руки.

Много позже, в очерке «Серафимовское кладбище», словно провидя те мои переделкинские думы, поэт напишет такие слова-признания: «Да ведь и сам я частичка русской природы, я сам, такой рокошуще-дерзкий и мягко-отходчивый, чутко переживающий и верный в наивном очаровании кому-то до трепета... Я знал, что свойства моего характера способны убийственно вынести жизненную ладью на бурунные камни, но быть иным не мог, и потому захлебывающе остро ощущал слитность с отчиной, породившей меня».

А затем еще и в поэме «Иверская Божия Мать», опубликованной у нас в «Вертикали» (№ 16, 2006 г.) горько признается:

*Я долго жил. Но паутинно жил,
запутываясь в мороси ошибок,
не разбираясь в наплывавших людях,
как в волнах ложно-дружеского моря.
Я плоскостопных счел за бегунов,
податливых льстецов нарек друзьями,
прощал бездарным ворох строчкогонства
я из-за чародейства их улыбок
и в дом к себе зазвал отпето-злых,
прикрывшихся рогожею сочувства.*

Писатель Олег Шестинский может быть по-человечески чем-то увлечен, может ошибаться и чего-то недопонимать. Но чего он совершенно точно не может – это сознательно, обдуманно предать, совершить подлость, пойти на компромисс с совестью. Потому в его стихах последних лет столько сердечной открытости – до безоглядности. И столько им написано прозаических страниц, посвященных этому чувству, обращенному к Богу, Богородице, бабушке, матери, стране, друзьям, женщи-

нам... Тогда у меня с собой была маленькая его книжечка «Ничуть не лукавит душа...», которую я прочитал накануне. Она была выпущена к семидесятипятилетию автора. В ней, кроме стихов, было помещено еще шесть рассказов, и все они были посвящены любви. Рассказы очень откровенные, но целомудренные. Хотя говорилось в них о любви к женщинам. Автор удивительным образом сумел удержать повествование «в рамках приличия», перевести внутреннее содержание происходящего от чувственно-эротического в плоскость духовного, душевного переживания. Грань этого перехода очень тонка, непрочна. И тем большая заслуга писателя, что он на ней удержался. Есть в этом сборничке рассказы, больше напоминающие воспоминания, мемуарное повествование («Небесный язык», «Мама, молись обо мне...»). Они-то, в первую очередь, и выдают в авторе душу чистую, незамутненную, ранимую, но, тем не менее, в первую очередь, откликающуюся на чужую боль. И совсем неважно, чья это боль – родного человека, любимой женщины, преданного до смерти пса – ведь это боль, страдание, и этого довольно, чтобы писательское сердце откликнулось на нее состраданием.

«Самое удивительное случилось, когда Степа, состарившийся и нескладный, приволокся ко мне, сидящему на диване и, вскинув черный пупырышек носа, втянул в себя воздух, чтобы убедиться по запаху, что перед ним сижу я. Он почти ничего не видел. Заперебирал болезненно распухшими лапами, и я понял, что он просится ко мне на колени. Я поднял его и он, уткнувшись мордой мне в ноги, не урчал по обыкновению, а издавал какие-то странные звуки, схожие с неким неведомым мне языком».

Ну, какой читатель не откликнется на эти строки сочувствием? Поэтому, видимо, эта книга, жившая в моем сознании, в моей памяти подспудно и томила меня, пытаясь вытолкнуть на поверхность это всеохватывающее определение жизненного кредо, жизненной основы моего старшего товарища.

Книжечку подарил мне Олег Николаевич накануне своего юбилея вместе с газетой «Патриот», где были напечатаны его стихи с посвящением друзьям. Для меня он приготовил стихотворение, которое я очень люблю и часто про себя повторяю.

*Валерию Сдобнякову
Обручальному золоту
век обжимать град - перст...
Кланяюсь Нижнему Новгороду
и красоте его мест.
Жили здесь люди не тусклые,
и никакая не знать –
самые истые русские,
истовей не сыскать.
Белогрибье да сосны,
курслеп на краю...
Я как крестьянин сошный,
податью жизнь отдаю
этой России, соборованной
яблонею в перестой...
Дьяками обворованной,
да суматошной толпой.*

Тогда же, в издательстве «Советский писатель» вышла еще одна, уже большая и многотиражная чисто поэтическая книга Шестинского – сборник «Птица спасения». В ней были собраны стихи «смутного времени» пятнадцатилетнего периода терзания России. Но и такую книгу можно было написать только с глубокой любовью в сердце. Олег Николаевич предупредил меня, что читать ее нужно не выборочно, а подряд, страница за страницей, как прозу. Я так и поступил.

Страшные разочарования, потери, предательства, измены, но и обретение новых друзей – всю эту сложную, эмоционально насыщенную гамму событий вместила на своих страницах «Птица спасения». Словно бросая вызов осквернителем своей страны, тем, кто унизил, ограбил, предал ее, цинично надругался над ее идеалами, Олег Шестинский говорит прямо в лицо – вот моя позиция, моя оценка ваших действий, и я не боюсь, но презираю вас, потому что есть еще и главный, высший суд – суд Совести, Божий суд – его бойтесь, к нему готовьтесь.

В книге помещено более двухсот стихотворений, которые, в свою очередь, разбиты по разделам: «Преданным, любящим, ушедшим», «Россия», «Моя бессмертная блокада», «Земное небо». Мне трудно было сразу найти единое определение этого огромного поэтического труда, пока, наконец, не пришло на ум – это есть духовный дневник автора, подобно тем, что пишет для себя каждый из нас, приготавливаясь к тайнствам исповеди и причастия. Безусловно, в книге много душевной смуты, несопокойствия, особенно когда это касается стихов «политических». Ну, а возможно ли, чтобы было иначе? Ведь окрест рушилось, осквернялось, предавалось самое дорогое – чувство долга, совесть, патриотизм, неисчислимые жертвы и страдания войны, муки и голод блокады, все девятьсот дней которой ребенком Олег Шестинский пережил в Ленинграде. Казалось, в этой вакханалии переворачивается мир и все светлое, да и сама надежда на это светлое навсегда уходит из нашей жизни. Мог ли все это поэт пережить без душевной смуты, без отчаяния? К тому же столько личных, безвозвратных потерь, произошедших в Ленинграде принесло это время – ушли из жизни близкие друзья: Владимир Соколов, Глеб Горышин, Михаил Дудин...

*Когда умирает товарищ,
не грусть, не печаль, не тоску,
иное в себе ощущаешь,
а что – я сказать не могу.*

*Как будто бы сам, огорченный
спешил на Небесный Вокзал,
но к звездам умчались вагоны,
а ты, как всегда, опоздал.*

Сколько в этих строках вдумчивой, сосредоточенной грусти. Даже печали. И ведь с этим состоянием, с этим духовным грузом надо было продолжать жить, продолжать отстаивать свою высшую и наиглавнейшую правду. Потому то и, преодолевая все искушения времени, все внешние напасти, Шестинский находит-таки для себя твердь под ногами в преданности Богу, России, Любви. Он вспоминает в стихах блокаду и приходит к выводу, что чудо выживания в ней стало возможным из-за того, что рядом охранительно были Любовь – мама, Бог – бабушка, Россия – то, ради чего хотелось и стоило, да просто необходимо было жить.

И все-таки позже, в своих воспоминаниях-размышлениях «Серафимовское кладбище» поэт напишет горькие слова, выдавшие то, что печаль не пережита, а до скончания века поселилась в страдающем сердце: «Пульсировало во мне: куда я тороплюсь? И выдыхалось отчаянно: в город мертвых!..»

* * *

2005 год начался с охлаждения в наших с Олегом Николаевичем отношениях. Инициатива этого исходила от Шестинского и потому причина для меня была совсем непонятна. Как повелось в нашем общении, я о своем недоумении прямо написал Шестинскому, и попросил объяснить происходящее. Ответ получил не сразу. Но еще до него начали

ко мне приходило слухи, что в Москве произошли какие-то неприятные события в Международном Сообществе Писательских Союзов, располагающемся на улице Поварская, 52 в бывшем особняке Ростовых. А я знал, что Шестинский очень дружен с писателем и первым заместителем председателя МСПС, который возглавлял Сергей Михалков, – Арсением Ларионовым. Потом из издательства «Советский писатель» прислали мне книжечку стихов Олега Николаевича «Черный март» с короткой и мало что объясняющей запиской от самого автора. Хотя, как я понял позднее, эти события в жизни поэта имели колоссальное значение. В рассказе «Мартовские голгофы» он так опишет то состояние, которое пережил после случившихся событий: «...И я удалился в свой загородный скит, и там яростная лава моего мозга выхлестывалась стихами. Неожиданно я проникся, что чья-то вездесущая сила движет моей дланью, выжигающей раскаленно строки. И тогда я, как мне сдавалось, выворотил из себя всю неизлеченную боль за товарищей и перечитал мною сотворенное, я ужаснулся: весна нового XXI века завязывалась не в благоуханном пробуждении, а с поругания черным мартом. И то, что выстрастилось в моей поэзии в этот черный март, являло истину, пропульсировавшую ко мне оттуда, с малого отрезка пути, из-за занавеса, «спускающегося над жизнью». И эта истина писалась как СОВЕСТЬ».

Надо признаться, что произошедшее в Москве совершенно никак не затронуло интереса провинциальных писателей, и потому многие не то что плохо ориентировались в происходящем, но зачастую и вовсе о нем не слышали. В столице же события вокруг Дома Ростовых развивались бурно, с проведением параллельных съездов, удалением одних писателей из кабинетов международного союза другими с помощью омонцовцев. С обеих сторон последовали публикации в прессе статей с взаимными обвинениями и отстаиванием своей правды. Примерно в это время Олег Николаевич прислал мне для прочтения рукопись повести, где в письме сразу оговорил условия публикации, которые я выполнить не имел никакой возможности. Потому рукопись я вернул назад автору с объяснением причины. И, видимо, Шестинский воспринял это мое письмо, как отстранение от него ввиду произошедшего раскола в МСПС, где он однозначно занял позицию одной из сторон. Я же, повторюсь, о произошедших событиях даже не знал, и потому-то резкое охлаждение в наших взаимоотношениях, с одной стороны, меня очень удивило, с другой, подтолкнуло к тому, чтобы в случившемся разобраться. Я написал письмо, и вот после этого, после долгого молчания Олега Николаевича все случившееся на Поварской для меня и открылось. А несколько позже я еще и узнал, что после публикации стихов из книжки «Черный март», в переделкинский дом к Шестинским кто-то залез и, ничего не взяв, только изрезал фотопортрет поэта ножом, оставив на нем глубокие ножевые полосы, напоминающие клешни фашистской свастики. Хотя, несмотря на необъяснимость для меня молчания Шестинского, я все-таки напечатал в «Вертикали» другое большое прозаическое его произведение под кратким названием «Вера». Напечатал, потому что подошел ранее обещанный мною автору срок.

Уже первые строки этого произведения объясняли читателю все то, с чем ему предстоит столкнуться.

«Много лет внутренне, как бы про себя сочиняя я это повествование. Не на листах бумаги. В душе своей, в боли. Разгромленные кладбища, соборы, монастыри, памятники выдающимся россиянам отзывались во мне тоской, гневом, презрением. Зачем рушили? Ведь начитанные атеисты соображали, что порухой религия не искореняется. Лишь загоняется в тайники души, пламенеет там в несломленности...».

Свои «тайники души» и открывал писатель перед читателями, осмысливая свой путь (через переживания, образы, встречи, человеческие судьбы) к спасительной вере. Той вере, которую ему, еще в блокадном Ленинграде, словно в прозапас, напотом, заложила в детское сердечко

бабушка. Она-то знала, что тайничок этот не пропадет, даст о себе знать ради спасения вечного в момент постижения высшей правды.

Но в этот же год выходят у Олега Николаевича и новые книги прозы – в «Советском писателе», в «Роман-газете». Печатаются рассказы и статьи в каждом номере журнала «Слово», в других многочисленных изданиях. И все-таки книга «Яблоко Евы» в этом ряду литературных новинок от Шестинского стоит особняком. На мой взгляд, она концентрирует в себе те два главных для писателя чувства, которые уже не раз им заявлялись (и к пониманию которых я пришел путем размышления от встреч и бесед с Олегом Николаевичем, от прочтения его произведений), как судьбу определяющие для него – ЛЮБОВЬ И СОВЕСТЬ.

В этих, уже изрядно затянувшихся заметках, наверное, нет смысла устраивать какой-то критический разбор собранных в книге произведений. Сюжетные перипетии в них, как и во всех произведениях последних лет этого автора волнительны и обращены к тому, чтобы читатель, соприкасаясь с духовным миром героев рассказов, невольно обращался с оценкой к себе, заглядывал в свое сердце, свою душу. Потрясающим равнодушием пропитаны строки этих произведений. Но есть еще одно – интонационный стиль письма Шестинского абсолютно самостоятелен, идентичен только для него. Этими книгами он утверждает в русской словесности, как автор исключительно своего, неповторимого литературного стиля. Этого от него уже никому не отнять.

Именно с присылкой книги «Яблоко Евы» было разрушено отчуждение в наших отношениях. Следом за книгой пришло письмо (по-Шестински эмоциональное, с душевной открытостью) наконец-то все мне объяснившее. Это было даже не письмо старшего товарища, а послание брата брату во Христе живущих. Прочтя его буквально со слезами в сердце, я возлюбил этого человека, как посланного мне Богом.

А вскоре состоялась и наша встреча у Олега Николаевича в Переделкино. Тогда мы записали с ним на диктофон нашу беседу.

* * *

Поздней ночью я заканчиваю работу над этой рукописью. Точка поставлена, а полного удовлетворения от проделанной работы нет.

Спускаюсь вниз, на первый этаж своего дома, потеплее одеваюсь и выхожу в безмолвную, росистую сентябрьскую ночь.

Высокое чистое небо бросает мне в глаза россыпи звезд. Чувства одиночества и восторга смешиваются во мне, невольно в волнении заставляя забиться сердце. Я оборачиваюсь к дому и вижу, как оставленный на веранде свет освещает мои яблони и фонарики плодов на отяжелевших, обвисших ветках вновь радостно и призывно горят. И тогда мне подумалось: – Брат мой, дорогой мой человек. Пусть пришла осень в твою жизнь. Но вместе с ней сколько плодов от твоих трудов разом получили люди. И пусть какие бы холода не стояли в России, они не погубят дерева твоего творчества. Пусть кто-то пытается погасить перед людьми свет. Плоды трудов твоих от этого ничуть не потеряют свежести, сочности, аромата. Живительная влага их останется столь же притягательной, необходимой. И придет другой человек, и включит свет. И люди изумятся количеству и красоте тобою созданного, будут благодарить за это Бога и прославлять тебя. И никто из них в этот миг торжества жизни не вспомнит тех, кто пытался уничтожить и скрыть Красоту, Любовь, Совесть твоего слова, насылая холод, выключая свет.

Окружающий мрак может быть долог, но не вечен. Вечны лишь творения праведные, созданные по законам Совести и Любви, и воплощенные в его величество – Слово.

*Нижегородская область, д. Кунавино
19-21 сентября 2006 г.*